



Александр Федоров

Его глаза

РОМАН

*А. Федоров*

Фонарь

Александр Митрофанович Федоров

**Его глаза**  
(Забытая русская литература)

Александр Митрофанович Федоров (1868–1949) — русский прозаик, поэт, драматург.

Роман «Его глаза».

# Содержание

#1	0006
I	0007
II	0021
III	0047
IV	0061
V	0074
VI	0090
VII	0104
VIII	0117
IX	0128
X	0141
XI	0159
XII	0170
XIII	0184
XIV	0192
XV	0201
XVI	0209
XVII	0215
XVIII	0231
XIX	0246
XX	0270
XXI	0286
XXII	0304
XXIII	0320
XXIV	0331

XXV	.0336
XXVI	.0382

# **Александр Федоров**

## **Его глаза**

# Роман

Со смехом и шутками сняли художники со стены безобразную рыночную мазню в большой золотой раме и, за неимением мольберта, водрузили ее на двух стульях. То-то будет сюрприз для хозяина гостиницы, украсившего этим чудовищным полотном кабинет, где художники собирались каждый четверг вместе пообедать и подурачиться.

Они тут же решили обработать это полотно по-своему: каждый приложит свою руку с тем, чтобы картина нынче же была закончена и водружена на прежнее место.

Большинство художников немолоды. Кое-кто даже успел поседеть, и в их шумном веселье скорее сказывается привычка пошуметь, нежели увлечение. Вот уже лет пятнадцать они каждую неделю собираются ради веселой беседы. Случаются недоразумения, но товарищи не дают им разгореться до пожара. Все очень дорожат этими дружескими встречами и берегут свой союз, чуть ли не единственно бескорыстный в этом большом городе.

— Ну, кто первый?

Электрические лампочки освещали дружескую веселую компанию художников за столом; белую скатерть, значительно пострадавшую после безалаберного обеда, неубранные кое-где тарелки, разноцветное стекло бутылок и хрусталь бокалов, в которых краснели и золотились вино и пиво.

— Тит! Тит! — закричали со всех сторон. — Пусть он начинает. Он декоративнее всех пишет.

— Тит, Тит, иди молотить!

Глаза товарищей обратились к черному сушощавому художнику, который с удовольствием потягивал красное вино и маленькими добродушными глазами косился на палитру. В нем и без того эти сочные пятна красок возбуждали аппетит к работе. Вытерев намокшие от вина усы, он сделал характерный для него жест, как будто ставил в воздухе запятую.

— Идет!

Еще пахло кушаньем и табачным дымом, нехотя тянувшимся к открытой форточке сизоватыми расползающимися прядями, и вот к этим запахам прибавился еще один, такой



знакомый и близкий всем им: запах масляных красок, выдавливаемых на палитру.

Большой палец левой руки Тита вынырнул из отверстия палитры; кисти затопорщились, как стрелы из колчана. Расставив ноги, художник сел перед рыночным лубком и, откинувшись на спинку стула, прищурил глаза, так на несколько мгновений замер с блуждающей улыбкой, светившейся из-под растрепанных, еще не успевших высохнуть от вина усов.

Нынче на закате, во время прогулки за городом, его заинтересовал и тронул один мотив. Конечно, дело было не в этой заколоченной даче на берегу моря, среди оборванных осенними ветрами деревьев, меж унылых обнажившихся холмов, которые тянулись вдоль обрыва, и даже не в этой одинокой черной фигуре женщины, которая шла по тропинке вдоль моря так медленно и тихо, будто она была слепая. Все дело было в этом освещении, в этом свинцовом тоне неба и моря и воздуха, который поразил его своей печалью и почти безнадежностью.

Это впечатление ему и захотелось сейчас

передать в красках. Лицо его стало серьезным и строгим, и кисть ловко и осторожно задвигалась по палитре, мешая краски.

Взяв нужный тон, обратил он взгляд на полотно и не мог не расхохотаться: так далека была дурацкая мазня от того, что мерещилось ему.

— К черту! — заявил он и хотел встать, но товарищи силой удержали его на месте.

Тогда кисть заработала, замазывая похожие на белые пузыри облака, нелепо торчащие коричневый горы и пронзительно зеленую траву. Краски ложились широкими сильными мазками, и скоро от прежней картины не осталось и следа.

Кое-кто из товарищей заглянул в его работу.

— Браво, Тит! Молодчина, Тит! Великолепный тон.

— Это при электрическом свете, а как днем выйдет, черт его знает. Баста! — заявил художник, оставляя кисти. — Пусть продолжает, кто хочет.

Он решил завтра же заняться этим мотивом серьезно, а теперь ему не было никакого

дела до того, как станут продолжать эту работу другие.

— Ольхин, садись ты.

Самый молодой художник испуганно замал руками.

— Нет, нет, я такой застенчивый. Если котенок на меня глядит, я и то не могу работать, — заявил он при общем смехе.

На картоне контуры обозначались неопределенными пятнами. Ясны были отношения неба, моря и берега. Но когда на место Тита сел полный, ленивый и спокойный Даллас, этому представилось совсем не то, что замыслил товарищ. Прежде всего он отделил небо от моря оранжевой полоской просвета, а там, где едва рисовалась заколоченная дача, стал намечать колонны и купола языческого храма и фигуры танцующих вакханок, образы далекой древности, к которой тяготело воображение художника.

В то время, как он таким образом работал, другие пили, ели и спорили. Разговор от искусства повернул на женщин, и тут вспомнили о Стрельникове, который нынче обещал привести к ним на четверг какую-то свою

знакомую девицу.

В прошлый четверг у художников из-за этого вышла целая баталия. Каждый раз, как поднимался вопрос о допущении на их четверговые обеды женщин, некоторые из товарищей провозглашали: «отечество в опасности». И как это ни странно на первый взгляд, самыми яркими противниками подобных предложений были те из них, которые наиболее любили женщин и даже пользовались у них успехом.

Большинство художников приписывало свое счастливое объединение именно отсутствию на их собрании женщин.

— О, достаточно было бы затесаться в нашу среду женщине, и мы моментально распустили бы хвосты, как павлины, а затем, разумеется, перегрызлись бы друг с другом вдребезги, — утверждал тот же самый Стрельников.

Редко-редко, в виде исключения, допускались артистки или натурщицы, но те и другие держали себя по-товарищески и почти не стесняли художников. Появлялись они мимолетно и не было времени разыграть стра-

стям. В виде исключения согласились допустить и приятельницу Стрельникова, которая, по его словам, была — славный малый и отлично пела.

— Наверное, какая-нибудь морда для некурящих, — недовольно ворчал архитектор Кроль, толстенький, кругленький, всегда веселый еврей, который, не в пример своей нации, любил, как он выражался, урезать, и при этом в таком количестве, какого не мог одолеть никто из его собутыльников. И натура у него была широкая и на язык он был крайне несдержан.

— Вот теперь нельзя будет при этой юбке настоящего слова завернуть.

Самый старший по летам из этой компании, художник Лесли, за свою наружность прозванный гугенотом, слегка заикаясь и потому употребляя много лишних слов, возразил Кролю:

— С...собственно говоря, если хотите, т...тем лучше. От ваших настоящих слов в...воздух киснет.

Кроль был единственный, с которым гугенот был на вы и не ладил именно потому, что

сам был чрезвычайно деликатен и старался всегда выражаться изысканно.

— Э, — пренебрежительно махнул коротенькой ручкой архитектор. — К черту деликатесы и книксены!

Но не успел он закончить эту фразу, как дверь кабинета распахнулась, и художники дурашливо хором приветствовали нараспев вновь появившегося товарища.

— А-а-а!

Стрельников был высок ростом, черен и курчав. Несмотря на свои тридцать лет и романические приключения, мешавшие стать этому выдающемуся таланту большим художником он выглядел почти юношей. Особенную моложавость придавали ему блестящие глаза и красивый рот, ясно обозначенный под короткими черными усами.

Было что-то детское в изгибах этого рта, особенно когда Стрельников смеялся. Ко всему этому у него были такие не по росту маленькие ноги и руки, что он мог надевать женские перчатки и туфельки. И, однако, несмотря на эти черты, он был смел, даже дерзок не с одними только женщинами. А

тонкие, изящные пальцы его свободно гнули серебряные монеты.

Он не мог не засмеяться в ответ на эту мальчишескую встречу, но тут же укоризненно покачал головой.

— Перестаньте, бездельники. Я не один...

И, пропуская вперед спутницу, шутливо провозгласил:

— Вот, Ларочка, позвольте вам представить моих товарищей. Молодые люди, впоследствии разбойники.

Девушка, лет девятнадцати-двадцати, остановилась в дверях, с веселым любопытством оглядывая всю компанию. Она была довольно бедно одета: простенькая кофточка, белая вязаная шапочка.

Но казалось, что она оделась просто и бедно с умыслом, чтобы хоть несколько погасить соблазнительное сияние красоты и юной свежести, которыми переполнялось все ее существо, начиная от волос, цвета первого меда, и кончая ногами, стройность и легкость которых чувствовались в ее остановившемся движении.

Она была высока и гибка, и светлое лицо

ее могло бы показаться слишком белым, если бы на него не ложился теплый отблеск не то от этих золотистых волос, не то от глаз, больших, серо-зеленых, но излучавших как бы заревой предутренний свет.

Художники с шумом поднялись с своих мест; кое-кто взглянул в зеркало. Лесли застегнул сюртук; разбудили ради этого даже директора, который по обыкновению, вернувшись усталый из школы, съедал свой огромный ростбиф и затем надолго, сидя, засыпал.

— Это наш крокодил, много кушает, еще больше спит.

Она сначала несколько смутилась и неопределенно улыбалась, подавая руку то одному, то другому художнику, забывая лица и фамилии тотчас после того, как они представлялись.

Но когда Лесли уступил ей свой стул на председательском месте, она коротко засмеялась, оглядев всю компанию с дружелюбным любопытством, и этот короткий смех приятного тембра и дружелюбный взгляд сразу расположили к ней художника.

Она села и все заняли свои места; на мину-



ту водворилось молчание. Стрельников остановился перед картиной, и его восхитило их коллективное творчество, в котором шутка смешалась с настоящим искусством. Он и сам с удовольствием готов был приложить руку, это освобождало его от необычного здесь положения кавалера.

Женским инстинктом она почувствовала тон этой компании сама и просто обратилась к нему, вскинув глазами на Стрельникова:

— Он предупредил меня, что у вас не бывает женщин, но мне очень захотелось с вами познакомиться. Я очень люблю картины и так скучно одной в чужом городе. У меня ведь, кроме него, почти никого здесь нет знакомых.

В этих мило сказанных, но немного бесвязных словах, от художников не ускользнуло, что она избегала назвать Стрельникова по имени, и это утвердило подозрение относительно их близости.

Художники во все глаза глядели на нее: кое-кто искоса перевел взгляд на Стрельникова, который уже держал в руках кисти и, прищурившись, как будто прицеливаясь, смотр-

рел на картину.

«И везет же этому человеку», — с завистью подумал Дружинин. Ему почему-то особенно понравилась эта девушка. Во всем ее существе, даже в ее солнечных волосах, было для него что-то чувственно-волнующее и притягательное; он ясно ощутил, что ему около нее как будто душно, и, снова покосившись на Стрельникова, которого он любил, в первый раз ощутил к нему неприязнь.

Сам он был с женщинами необыкновенно сдержан и почтителен, но именно в Стрельникове до сих пор не осуждал его распущенности: жизнь Стрельникова, он знал, была испорчена несколько лет тому назад. Как-то так случилось, что Стрельников, сняв комнату у акушерки, вдовы с двумя детьми, случайно сблизился с нею. Акушерка была уже немолодая и даже некрасивая, с злым извилистым ртом, но была умна тем звериным женским умом, который при любви становится гибок, чуток и цепок, как щупальца. Все же это не удержало бы около нее легкомысленного Стрельникова, если бы на помощь этой женщине не пришло роковое

обстоятельство, за которое она ухватилась, как за нить судьбы...

Стрельников и изумился, и испугался, когда она объявила ему, что скоро он должен стать отцом. Первой мыслью его было как-нибудь избавиться от этой почтенной роли. Она, как акушерка, могла бы устранить это обстоятельство. Не желает, ну, тогда он пожертвует ради этого теми небольшими средствами, которые получал из дому, а сам будет жить от продажи картин и уроками. В сущности, он и без того помогал ей.

Но когда родилась девочка, в нем неожиданно проявилась отцовская нежность, совершенно не вязавшаяся с его обликом. Зато ко вдове он не только охладел, а связь с ней стала мучительна для него. И раньше он не был ей верен, а теперь безудержно пользовался своим успехом у женщин, в каком-то опьянении оставляя одну для другой, как будто мстя таким образом за те вынужденные путы, которыми связала его самая ему ненужная из них.

Как на грех и девочка была очень некрасива и почти до трех лет не могла ходить и пло-

хо говорила. Все это заставляло его очень страдать, но, как это ни странно, ему легче было бы оставить вдову с ее теперь уже тремя детьми, ограничившись материальной помощью, если бы девочка была прекрасна. Теперь же он с каждым днем сам все более терял надежду на свое освобождение. И, пожалуй, в своих коротких увлечениях инстинктивно искал того настоящего, что помогло бы ему порвать эту связь. Но все встречавшиеся ему женщины, или оказывались еще слабее его, или у него самого не было к ним истинного чувства.

Вдова знала об его изменах, ревновала и мучилась, и сначала терзала его жестокими сценами, но с появлением ребенка она боялась довести его до разрыва с ней, да и попривыкла, видя, что увлечения его, чем они чаще, тем менее ей опасны. Поэтому она сквозь пальцы взглянула и на эту странную рыжую девушку, которая неожиданно появилась у них, как давнишняя знакомая Стрельникова. Она была дочь священника в том самом селе, где была усадьба его родных.

Даллас первый догадался предложить девушке закусить и выпить вина.

Она согласилась без всякого жеманства. Вообще, в ней была такая простота, что прежде, чем она успела сколько-нибудь проявить себя, художники уже почувствовали товарища. А то, что она была мила и привлекательна, как будто даже освежило их атмосферу, точно на этот стол, беспорядочный и запятнанный, поставили букет цветов.

Руки как-то сами собой потянулись закрыть чистыми салфетками залитые вином места на скатерти, а явившемуся на звонок лакею приказано было немедленно убрать со стола все лишнее.

Даллас следил, как девушка взяла ресторанную карту и пробежала ее глазами. «Э, да она, видно, с ресторанами знакома», — учел он свое маленькое наблюдение, но видя, что гостя не решается заказать сразу, поспешил на помощь.

— По-видимому, вы, барышня... извините, я не знаю вашего имени...

Девушка с простодушием заявила:

— Да зовите меня Ларочка, меня все так зовут.

Художник галантно наклонил свою круглую стриженую голову.

— Если позволите...

В его тоне послышалась легкая фамильярность.

— Так вот, Ларочка, я вам порекомендую такие вещи, каких вы не найдете нигде во всем мире.

— О-о, Даллас у нас известный гастроном, — шутливо поддержали его товарищи. — Так и называется гастроном и путешественник Даллас-Симулеско.

— Дурацкое прозвище, — отшучивался художник. — Это все наш писатель выдумывает. Вот он сидит, по-видимому, тихоня, а на самом деле ужасная язва.

Ларочка вторично протянула Дружинину руку, и его еще более смутило, что она, не заметив его при первом знакомстве, сейчас выказала особое внимание.

— Однако перейдем к делу, — продолжал Даллас, взглянув на выжидательно стоявшего

лакея. — Прежде всего, — внушительно продолжал он, — на закуску баклажанная икра с прованским маслом и зеленым лучком. Я сам приготовлю вам эту прелесть. Затем... — он сделал паузу и огорченно причмокнул языком. — Эх, жалко, что нет скумбрии. Явилась в море какая-то проклятая рыба — пирамида и уничтожает ее. Вместо нее — камбала, конечно, отварная с картофелем. — Даллас даже облизнулся на это. — Камбала свежая, как поцелуй молодой девушки. Сам нынче испробовал.

— Поцелуй? — плутовато спросила Ларочка и рассмеялась, и все художники также рассмеялись, подхватив ее жалкую остроту.

Становилось ясно, что при этой гостье нечего сдерживаться, и даже чопорный Лесли решил, что сюртук можно расстегнуть.

Даллас шутливо-скромно потупился и еще более облегчил тон:

— К сожалению, я никогда не испытал того, что заподозрили вы. Мое сравнение сделано лишь по догадке. Я могу только завидовать некоторым счастливым. — И комично вздохнув, он перевел с нее лукавый взгляд своих

смеющихся калмыцких глаз на Стрельникова.

Она, продолжая улыбаться, поднялась со стула и направилась к тому.

— Что это вы рисуете?

— Это... пардон, — поправил ее Лесли, — карандашом или углем рисуют, а когда, с...собственно говоря, работают красками, принято выражаться — пишут.

Ей это показалось забавным: значит, у художников как раз наоборот.

Она стояла за плечами Стрельникова и с любопытством смотрела, как его кисть переходила с палитры на полотно, и с каждым мазком картина все более определялась и оживала.

Около храма выросла темная роца, но деревья ее были уродливо-странные, точно морские бури согнули их стволы и перепутали ветви и корни, местами выступившие наружу. Это темное пятно сразу как будто осмыслило картину. Точно в нем заключался ее фокус.

— Что изображает все это? — спросила девушка.



Стрельников ответил, продолжая писать.

— Что хотите, Ларочка.

Даллас пояснил:

— Искусство, милая барышня, тем и прекрасно, что каждый берет из него то, что близко его душе.

Дружинин вмешался в эту беседу:

— А я бы определил эту картину одним словом: Стихия. Вот она, — указал он на море и едва не испачкал краскою палец, — бесконечная и таинственная, как всякая стихия: будь то океан, огонь, ветер, любовь.

— По-ошел, — прервал его Даллас. — Не слушайте его, Ларочка, он писатель и потому относится к живописи совсем не так, как надо. Слушайте только меня. Я самый умный в этой компании.

— Врет, я самый умный.

— Нет, я.

— Нет, я, — дурачились художники. Но Даллас повелительно поднял руку.

— В живописи все в красках, во взаимоотношении красочных пятен, и мудрствовать тут нечего.

— В красках и в движении, — дополнил

Ольхин.

— Движение дело второстепенное. Главное же, когда вы смотрите на картину, вас прежде всего привлекают краски, и если краски свежи, приятны, а еще лучше, новы для глаз и, в общем, дают благородный тон, значит, художник сделал свое дело.

Но писатель не хотел сдаваться.

— Черт возьми, я понимаю краски, но нельзя же так суживать сферу живописи. Если дашь самые прекрасные и даже новые отношения красочных пятен, но не сообщишь этому никакого смысла, получится ерунда, а не искусство.

— Нет, не ерунда, потому что учит тебя, полуслепого, различать новые вибрации тонов, обогащает твой глаз новыми открытиями, о которых ты не подозревал, так сказать, проясняет твоё зрение. Ведь ты же сам сознавался...

— Ну, да, — перебил Стрельникова Дружинин. — И я рад подтвердить, что с тех пор, как познакомился с вами, вижу в природе больше красоты. Но, однако же, ты пишешь определенный пейзаж, даже стараешься украсить его теми или иными фигурами, а не даешь

только одни красочные вибрации.

Художники следили за этим спором и чувствовали, что здесь дело не только в выяснении истины.

Кроль недовольно шепнул Ольхину:

— Ну, вот, я так и знал, что будут распускать павлиньи хвосты.

Стрельников пожал плечами.

— Понятно, что я некоторым образом должен заботиться о форме. Ну, как скажем, вина надо разливать по бокалам или кубкам. Конечно, приятно, чтобы эти кубки и бокалы были также благородны и красивы, но для тех, кто любит и понимает вино, дело не в этих пустяках. Да, да, как для любителей вин все дело во вкусе, способном различать тонкость их, так дня нас все в зрении, все в глазах.

Гугенот, не умевший никогда связать так стройно десяток слов, ревниво перебил.

— Э, с...собственно говоря, мадемуазель Ларочке... — он не решался ее назвать просто Ларочкой, — с...собственно говоря, скучно слушать эту философию.

Но девушка, не привыкшая к подобным бе-

седам, с блестящими от удовольствия глазами, с тайной гордостью переводила взгляд с одного спорщика на другого, заставляя их невольно настораживаться.

— Правда, — созналась она, — я, может быть, не совсем поняла вас и вас. Но мне кажется... — Она вдруг покраснела и неожиданно закончила:

— Вы оба правы.

— Bravo! — подхватили художники. — Вот голос истинной мудрости.

— А потому, — наливая ей и себе белого холодного вина, весело возвысил голос Даллас, — я предлагаю выпить за глаза художника, за этот величайший источник земных радостей и, в частности... — он закругленным движением, наклоняя на бок голову, обратился к гостю. — За дивные, прекрасные...

Художники, также спеша наполнить свои стаканы, с мальчишеским озорством дополняли его эпитеты:

— Пленительные.

— Несравненные.

— Умопомрачительные...

— Да, да, — вторил им Даллас, как бы дири-

жируя этим хором, — пленительные, умопомрачительные и прочее и прочее... Словом, за глаза Ларочки! — закончил он, высоко поднимая свой бокал и чокаясь с тем звоном, который он наловчился вызывать из стекла.

Она покраснела от удовольствия, задорно смеялась, и ее легкий смех сливался с прозрачным звоном бокалов. Ее заражало это артистическое веселье и сближало настолько, что самой хотелось быть, как они. И Дружинину казалось, что, когда она отнимала во время смеха от губ беленький платочек и встряхивала его, из платочка сыпались веселые искорки.

Лакей принес закуску, и Даллас с прибаутками и приговариваниями стал готовить баклажанную икру.

— Черные маслины, политые прованским маслом, тоже будут в тоне. Художник во всем должен оставаться художником. Головой ручаюсь, это не может не понравиться.

Действительно, понравилась и баклажанная икра и маслины и особенно камбала. Но рыбу она резала ножом, и это огорчало не одного только Лесли, весьма щепетильного по

части подобных условностей.

Дружинин также шепотом поставил Стрельникову на вид это обстоятельство.

— А ты займись ее воспитанием, — ревниво и довольно громко ответил тот.

Дружинин отскочил в сторону, но еще более его смутило, когда Стрельников, не отрываясь от картины, обратился прямо к девушке:

— Ларочка, не режьте рыбу ножом, а то Дружинин в вас не влюбится, а гугенот заболит от ужаса.

— Вот свинья, — возмутился Дружинин.

— Да, с...собственно говоря, действительно, свинство. — И чтобы оправдать себя, Лесли решился деликатно заметить: — Если хотите, мое мнение: рыба вкуснее, если с ней расправляются вилкой.

Она не только не обиделась на это замечание, а приняла его весело и чистосердечно. Продолжая есть с аппетитом, она посматривала на художников дружелюбно и ясно. И тем нравилась, что она ест без малейшего жеманства и ужимок, что свойственно далеко не всем женщинам, когда они едят в обще-

стве мужчин.

— Это хорошо, что вы меня научили, — говорила она, — так, действительно, вкуснее. Я всегда буду есть рыбу только вилкой. Я ведь выросла в глуши, таких тонкостей там и в помине не было.

— Притворяется дурочкой, — решили одни. А Далласу стало неловко за свое первое впечатление о ее опытности по части ресторанов, да и относительно близости с Стрельниковым он поколебался уже после его спора с писателем.

Пока девушка была занята едой, кое-кто из художников взялся за карандаш и акварель. Стали набрасывать ее портрет, а карикатурист Волков, молчаливый и мрачный по виду, но, на самом деле, простодушный и смешливый как ребенок, топорща губы и вытаращивая глаза, рисовал на нее карикатуру.

На карикатуре она выходила с несимметричным лицом, большеротой и раскосой. И в самом деле, хотя в глазах ее не было ни малейшей косины, но, благодаря их необыкновенной живости, они сообщали ее лицу выражение, свойственное слегка косящим. Что ка-

сается ее пышных рыжих волос, он так изобразил их, точно над ее низким лбом пылал костер.

Она не сразу заметила, что ее рисуют, а когда заметила, спохватилась.

— Что это вы рисуете меня такую... когда я ем. И потом... я даже не посмотрелась в зеркало.

Она оставила вилку, аккуратно, как-то по-детски сложила салфетку и, запив вином рыбу, подошла к зеркалу.

Прежде всего заметила, что лицо ее покраснело от вина, прижала к своим нежным щекам ладони, и все обратили внимание, что у нее пальцы необыкновенно красивы, но несколько загрублены черной работой.

Стекло все было исчерчено именами, и девушка, поправляя свои непослушные золотистые пряди, вслух читала надписи:

— Шуренок... Мимочка... Элька... — Читала и недоумевала искренно: кто же это все написал. — Смешные имена, точно собачьи клички.

На это странным раздражением отозвался Дружинин:



— Да оно почти так и есть. Можно наверняка сказать, что к особам с этими кличками господ, которые их сюда приводили, относились не лучше, чем к собачкам: накормили, напоили, позабавились, а затем, отпустив, забыли.

Всех несколько удивили его слова, а еще больше тон. Невольно перевели глаза на девушку, и показалось, что она как-то насторожилась.

— Вот чепуха, — поспешил возразить Даллас. — Откуда это у тебя такая строгость. Вы не слушайте его. Он, конечно, говорит вздор, — обратился художник к барышне. — Эти особы, которые таким образом расписались, просто в большинстве случаев любящие повеселиться так же, как и мы.

— Ну, не все так, — упорствовал Дружинин.

— Тем хуже, если не все. Это чисто русская черта, стыдиться веселья.

— Да я и сама люблю повеселиться, — откликнулась Ларочка, вызывающе глядя на чуть-чуть побледневшего писателя. — А то что же киснуть.

И она, покачивая головой, отчего рыжие волосы ее переливались светящимися струями, задорно промурлыкала:

*Для блага жизни нам дано  
Блаженство, пенье и вино.*

— Чудесно, — подхватил Даллас. — Вот и Стрельников говорил, что вы поете. Было бы ужасно интересно послушать.

— Что же, я с удовольствием спою вам, только нот у меня с собою нет. Мне кажется, что когда я пою, я умнее, чем так. Право. Когда я говорю, мне кажется, что я глупая.

— О, — подняв пухлый короткий палец, одобрительно заметил Даллас. — Это чувство настоящей артистки, браво.

Лесли оживился и поспешил к ней.

— Но вы, может быть, поете что-нибудь на память? Я могу п...подыскать аккомпанемент.

— Его на это взять. Он и сам сочиняет премилые вещи.

Лесли с скромным достоинством ответил, что действительно любит музыку, но не может сам не сознавать недостатка своего музыкального образования.

И он сел за порядочно разбитое пианино и, с видом почти вдохновенным, стал перебирать клавиши.

— Прошу вас назвать романс, который вы знаете.

— Ну, вот... «Весна идет». «Под душистою веткой сирени». — И она назвала еще несколько простеньких стареньких романсов, которые расппевают провинциальные барышни.

У большинства художников, любивших музыку и усердно посещавших концерты, эти названия вызвали снисходительный улыбки.

— Вот еще «Соловей мой, соловей».

— А, это уже несколько лучше, — одобрил Кроль, у которого был недурной баритон, несколько пошатнувшийся от беспутной жизни.

Лесли знал этот аккомпанемент и живо за него ухватился.

Вот и отлично. Будем петь «Соловья».

Он помнил эту вещь в исполнении Альмы Форстрем, и боялся, что выйдет жалко и, может быть, смешно.

И у всех, кроме Стрельникова, было подоб-

ное опасение. Всем так она нравилась, что беспокоились, как бы не пропало ее очарование. А она очень смело прислушивалась к репетиции, которую Лесли делал для себя на всякий случай. И когда, кончив, он вопросительно взглянул на нее, она утвердительно кивнула головой.

Началась прелюдия. Девушка выпрямилась и вовремя вступила звучным молодым сопрано.

И с первым же звуком этого голоса у всех отлегло от сердца.

Насторожившись переглянулись с молчаливой улыбкой, а Даллас удивленно склонил голову и почтительно уставился на барышню.

Конечно, она не умела петь, но пела с такой легкостью, как будто голос ее без всяких усилий выливался из ее тонкого горла.

Стрельников не столько слушал певицу, сколько следил за впечатлением, которое она производит на товарищессу и особенно зорко, почти подозрительно, взгляд его останавливался на лице Дружинина.

Писатель стоял спиной к окну, опершись

обеими ладонями на подоконник, и вся его небольшая, изящная фигура, в сером костюме, замерла в свойственном ему изысканном и свободном спокойствии. Перед глазами Стрельникова вычерчивался профиль его бледного, несколько болезненного лица, с подстриженными, как и у Стрельникова, усами.

Они были друзья до сих пор. Их вкусы во многом сходились: одевались они почти одинаково, у одного портного и любили менять галстуки, заботясь о красочном пятне. Теперь у Дружинина был темно-малиновый галстук: спускаясь между закругленных краев белого воротника, эта темно-малиновая полоска заставила неприятно поморщиться художника: она представилась ему струей крови, вытекающей из подчеркнутой белизной рубашки красивой высокой шеи.

Стрельников старался по лицу угадать его чувства; они еще ничем не были выражены по отношению к девушке и, однако, где-то в неведомом тайнике сердца тонко зазмеилось что-то подобное предчувствию, недоброму и отравленному нерасположением к своему

другу.

Он уже не слушал, что она поет, но голос ее как будто уже начинал разделять их ощутительно холодной преградой.

Голос замолк, но преграда не падала. Тогда Стрельникову захотелось как-нибудь уничтожить эту преграду, и не столько из желания сохранить дорогую для него дружбу, сколько из потребности убедиться, что все, еще так смутно представлявшееся ему, призрак и вздор.

Он оставил картину и подошел к Дружинину.

— Ведь, правда, у нее славный голосок, — сказал он, стараясь придать своему тону обычную дружелюбную простоту.

Но верно потому, что он старался об этом, тон оказался фальшивым, и он особенно это понял по такому же фальшивому тону приятеля:

— Да, очень славный.

Дружинин отошел от окна и приблизился к девушке, которой художники шумно выражали свое удивление и восторг.

— Вам надо серьезно учиться, — сказал он

ей почти строго.

Она так же серьезно взглянула на него. Эти слова почему-то были ей приятнее всех остальных похвал и шума. Она, сама не зная как, протянула ему руку.

— Учиться... да...

И по ее тону он понял то, о чем нетрудно было догадаться. Мелькнула мысль, что при его средствах он мог бы помочь этой девушке; но он был осторожен и расчетлив и не позволил себе остановиться на этой мысли. С этой минуты он с скрытой зоркостью стал следить за Стрельниковым и ею.

Упрашивали ее петь, и она стала петь все, что знала, все, что возможно было ей выучить в бедном поповском доме.

Чтобы было свободнее петь, она расстегнула воротничок кофточки и открыла нежную девическую шею, завернув мыском воротник под кофточку. От возбуждения и пения у нее пересохло в горле и она попросила пить.

Даллас бросился к столу и налил ей бокал вина, но Дружинин сказал:

— Зачем вина. — И тут же наполнит стакан из сифона и поднес ей одновременно с

Далласом.

Она взглянула на золотящийся бокал художника, к которому так тянуло губы, но рядом поднялся другой бокал с живыми игольчатыми пузырьками. Стрельников с вспыхнувшей тревогой ожидал, к кому протянется ее рука.

— Перед дамой благородной двое рыцарей стоят, — шутливо продекламировал Даллас. Она рассмеялась и, взяв в руки оба бокала, подняла их и сказала, направляясь к столу:

— Мы сделаем так. — Она взяла первый попавшийся пустой бокал и, отлив в него по половине вина и воды, поднесла напиток к губам.

— Молодец, Ларочка, — одобрили ее находчивость художники.

Даже Кроль восхитился по-своему:

— Орнамент настоящий.

Он пытался подпевать ей и раньше, а теперь не выдержал и обратился с предложением спеть вместе какой-нибудь дуэт.

Она знала только один старинный романс Глинки: «Не искушай». Забавнее всего, что этому романсу ее научил отец, с которым она



вместе распевала его у себя дома. Воспоминание на минуту ущемило ее сердце; у отца был прекрасный голос и в юности его соблазняли артистической карьерой, которую он отверг, чтобы прозябать в нищенском селе с своей многочисленной семьей. И когда он с торжественной семинарской манерой выводил: «Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней», голос его дрожал, а матушка вытирала слезы.

— Нет, нет, я этого не стану петь.

Но все, не понимая ее отказа, стали упрашивать и особенно Кроль. Наконец, когда его почти круглая фигура опустилась перед ней на колени, это вышло так смешно, что ее печальное настроение исчезло так же быстро, как пришло, и она уступила.

Толстяк-архитектор с волнением, которого он никак не мог побороть, начал романс. У него был приятный, несколько надорванный баритон, но это шло к романсу. И когда ее голос перевился, как плющ, с его, печаль вернулась, но еще острее и мучительнее.

— «Немой тоски»... — с чувством продолжал баритон, бледнея и опуская голову.

— «Немой тоски моей не множь», — высоким звенящим голосом снова вступила она, поднимая глаза с задрожавшими ресницами.

— «Не заводи о прежнем слова».

И вдруг ей с страшной ясностью представилось все горе, которое она причинила своим уходом старику-отцу и матери. Внезапная спазма схватила горло и оборвала пение.

Слезы брызнули из глаз, она отошла к окну и, уронив на подоконник руки, спрятала в них свое лицо. Голова ее совсем почти ушла в плечи, очерк которых сейчас явился угловатым и детским, и эти детские плечи вздрагивали от рыданий, и вся она с своей тонкой фигуркой показалась ребенком.

Все растерялись и почувствовали себя неловко, а Кролю прежде всего стало досадно, что так нелепо оборвался дуэт, который великолепно наладился. «Форменная истеричка», — решил он, и еще раз утвердился, что с бабьем не сваришь каши.

Все почему-то единодушно обернулись к Стрельникову с недоумевающим молчаливым вопросом.

Он скорее других мог догадаться о причи-

не, но и у него в жалость влилось безотчетное раздражение.

В то время, как Даллас уговаривал ее выпить воды, Стрельников подошел к ней, коснулся ее локтя и назвал по имени. Не глядя на Дружинина, он чувствовал его взгляд, испытующий и холодный.

Так как девушка не отозвалась, он насильственно бодро спросил:

— Ларочка, да что с вами?

Она поднялась, еще стоя к ним спиной, отерла платком лицо и, постояв так еще мгновение, обернулась застенчиво, ни на кого не глядя.

Даллас укоризненно-шутливо покачал головой:

— Ай-ай, барышня, нехорошо.

Она беспомощно улыбнулась, виновато взглянула на Стрельникова и пробормотала:

— Ну, вот видите, что я устроила.

— Положим, это пустяки, — успокоил ее Стрельников. — Но, скажите, с чего это?

Она, еще с мокрыми ресницами и не рассеявшейся грустью, произнесла, вздохнув после плача:

— Родных вспомнила.

Все улыбнулись, а Даллас комически развел руками, закатывая глаза:

— Аллаверды.

Всем опять стало легко, а Кроль даже обратился к ней с вопросом:

— Начнем снова?

— Нет, нет, я хочу домой.

Она еще раз передохнула, но уж гораздо легче и прояснившимися глазами обвела художников и остановила взгляд на Дружинине, который оставался все на том же месте, подозрительно наблюдая во время этой сцены за Стрельниковым.

Голубые вопросительные глаза Дружинина встретили ее взгляд, и она не сразу оторвалась от них. В этих глазах она уже не впервой чувствовала вопрос, который ее беспокоил.

Она поспешила перевести глаза на Стрельникова и скачала:

— Вы меня проводите?

Тот утвердительно наклонил голову.

Даллас, Лесли и другие стали ее убеждать остаться и еще попеть.

— Нет, нет, когда-нибудь в другой раз.

От ее мальчишеского веселья не осталось и следа: лицо ее, как будто сразу несколько опухшее от слез, потеряло свой задор. В какие-нибудь два часа своего пребывания среди них, успело несколько раз измениться не только ее настроение, но и лицо.

Художники не без сожаления отпустили ее.

И еще голос ее не успел затихнуть за дверью, как они, переглянувшись между собою, сразу заговорили:

— Вот это так девица!

— На пять с плюсом, — неожиданно разрешился высоким баллом директор.

— 3-золотая рыбка, если хотите знать! — определил гугенот.

— Черт возьми, мне кажется, что она окружена каким-то сиянием, — воскликнул Ольхин и, тотчас же сконфузившись, покраснел и притаился.

Но никто не заметил его смущения. Каждый по-своему был зажжен восторгом.

Кроль нашел, что она в выдержанном греческом стиле, и всякими мифологическими примерами доказывал, что гречанки были

рыжие.

Только Дружинин сидел молча, непривычно рассеянный. В глазах его мерцали золотые волосы ее улыбки и слезы, в которых была невыразимая и трогательная прелесть, от которой душа заныла тоской и завистью.

— Черт возьми, жаль, не успел дорисовать, — сказал Тит.

— В другой раз дорисуем.

— Ну, это еще вопрос, приведет ли ее Стрельников другой раз, — с грубоватой иронией заметил Кроль. — А поет она, как птица.

— Да и вообще в ней есть что-то птичье, — басом отозвался Волков.

— Ну, тебе, кажется, все женщины представляются похожими на птиц.

— А что же, птицы они и есть, и души птичьи и повадки птичьи у них.

— Ты у нас известный женоненавистник.

— Желаю тебе жениться, как я, и станешь таким же женоненавистником.

Товарищи знали об этой донельзя комической женитьбе Волкова на особе, на которую, по словам самого пострадавшего, никак нельзя было нарисовать карикатуры, ибо она была сама живая карикатура на женщину: просто женился для экономии и удобства.

Но ни экономии, ни удобства из этого союза не вышло: все, что зарабатывал Волков

учительством, эта женщина стала тратить на наряды и больше всего, по словам Волкова, она любила перья: на шляпе перья, боа из перьев, ну, прямо, птица.

— Слава Богу, что благодаря этим перьям она улетела к другому, — закончил он с довольным смехом. — Еще кружку пива за их счастье!

Художники безобидно посмеялись и кое-кто в утешение сказал, что артисту всегда лучше быть свободным.

Дружинин, усиленно пивший на этот раз белое холодное вино, пожал плечами.

— Пора бы оставить этот вздор: женщина — птица, семейная жизнь пагубна для художника и прочее. Первое — выдумка готтентотская, а второе — утешение для тех почтенных мужей, которые, будучи свободными, все равно себя бы не обессмертили.

Товарищи с удивлением на него взглянули.

— Но ведь ты сам всегда говорил относительно женщин... — начал Даллас.

— Что? — перебил его Дружинин. — Что у них особая психика. Что они неспособны к



творчеству... Да, я это говорил. Но птицами я их не считал и сам таким птицеловом никогда не был.

Это уже была определенно намеченная отравленная стрела, и не один Даллас возмутился.

Гугенот воскликнул, широко открывая заикавшийся рот, точно готовясь проглотить этого задиру:

— С...собственно говоря, какой это черт оседлал тебя нынче?

— А я знаю... я знаю какой! — по-мальчишески крикнул Ольхин.

— Да и я знаю, — пробасил Волков.

— Позвольте, позвольте, — успокоительно повел в их сторону руками Даллас. — Что ты такое плетешь? — прямо обратился он к писателю. — И раньше ты относительно вот этих кличек, — указал он на зеркало, — и сейчас... Это... Это, как бы тебе сказать... неловко, тем более, что Стрельникова здесь нет.

— Ах, при чем тут Стрельников, — сфальшивил Дружинин. — Я говорю вообще.

Даллас спокойно обрезал и раскурил сигару и, с наслаждением пыхнув несколько раз

душистым дымом, отвел от его лица свои умные калмыцкие глаза.

— А, вообще... Ну, какие там птицы и птицеловы. Людям хочется жить, хочется радости, любви, забвения. Женщина тянется к мужчине, мужчина к женщине, и, если хочешь, то оба они являются здесь птицеловами, потому что оба хотят поймать ту жар-птицу, которая зовется счастьем. Ты знаешь, как мало это интересует меня самого, — косясь на бережно ущемленную двумя пальцами сигару, заметил он. — Всем красивым женщинам я предпочитаю старинную севрскую статуэтку, благородную английскую гравюру, медную иконку пятнадцатого или шестнадцатого века и тому подобное. Вот вещи, которыми я желаю обладать. Они не изменяют, а если разочаруют, их можно заменить новыми. Но это дело вкуса и темперамента, и я бы никогда не осудил тех, которые свой вкус и темперамент устремляют на утехы любви.

Казалось, эти слова выходили из его ровных припухлых губ, как и легкие колечки дыма, и эта легкость раздражала противника. Он также курил папиросу, опуская во время

глубоких затыжек тонкие нервный веки с длинными ресницами.

Шевельнув плечами, он возразил:

— Однако, почему-то в этой ловле жар-птицы страдательным лицом почти всегда является женщина. И птица эта потом не только жжет ей руки, а и терзает частенько сердце.

Кроль махнул рукой.

— Канитель. Жизнь, черт возьми, постоянное сооружение домов и прочего кому-то, пока смерть не загонит тебя в твой собственный дом под землю. Стоить ли платить слезами за то, за что можно заплатить деньгами. Уверю вас, это гораздо полезнее для обеих сторон.

— Ну, ты лучше молчи, — пробовал его остановить Ольхин.

Но Кроль упирался на своем.

— А что ж, а разве этот, так называемый брак, в девяносто девяти из ста, не та же самая коммерческая сделка, и чем обеспеченнее публика, тем эта сделка очевиднее. Каждый, так называемый образцовый муж из всех сил старается избавить жену от какой бы то ни было работы, а каждая женщина при-

нимает это, как должное. Ха-ха-ха... — закатился он, и все его туловище, в котором главное место занимало преждевременное брюшко, заколыхалось.

Дружинин пренебрежительно поморщился. Он хотел было уже что-то возразить, но художники шумно заговорили со всех сторон:

— Даллас прав.

— Я нахожу, что Кроль прав.

— Позвольте. С...собственно говоря, все правы. Пусть каждый поступает по-своему, лишь бы совесть была чиста.

— Нет, главное, чтобы не было вреда другому.

— А покупать женщину за деньги — это гадость, — горячился Ольхин. — Это гнуснее еще, чем ростовщичество. Пользоваться нуждой и получать несоизмеримое с тем, что платишь.

Круглые глазки Кроля засветились досадой.

— Почему же несоизмеримое? Это смотря по тому...

— Пошлость, — перебил его Ольхин. — Ничего нет прекраснее, бесценнее женского те-

ла. А что такое деньги?.. Тьфу!

— И дурак, — взволновался Кроль. — Деньги это не тьфу, деньги это мой труд, моя мысль, мой талант. Во всяком случае, если бы они были просто деньги, то есть, если бы они мне достались даром, по наследству, и тогда они были бы нисколько не дешевле тела, этого сокровища, которое служит профессии.

— Но пойми ты, ослиная челюсть, — весь покраснев от раздражения, старался внушить ему Ольхин. — Эту профессию создает разврат.

— Дурацкие выдумки, никакого разврата на свете нет. Есть необходимость и удовольствие, а разврат выдумали мещанишки и лицемеры. И никто меня не разубедит в этом. Если разврат менять женщин, то и менять квартиру, менять цветы, менять кушанья, книги...

Но ему не дали договорить.

— Это уж ты заврался, — добродушно остановил его Тит. — Тут же все-таки, брат, живая душа. Нельзя же так, по-свински.

— Нисколько не по-свински! — горячился Кроль. — Я, в сущности, самый нравственный

человек среди вас, потому что тот, кто покупает женщин, тем самым избавляет себя от необходимости рано или поздно обмануть их, или обмануться. Люди возводят любовь до какой-то религии, когда эта вещь самая в сущности простая.

Опять воздух стал душен от дыма и разливаемого вина, опять с губ срывались в разгаре спора непринятые слова; друг друга почти не слушали, не вникали не только в настроение, но и в мысль, и хватались в опровержении не столько за суть, сколько за опрометчивые выражения, за сорвавшиеся с языка неудачные образы.

Даллас давно махнул рукой на то, чтобы разобраться в этом беспорядочном гвалте; с добродушным спокойствием он покуривал свою сигару и поглядывал задумчиво на Дружинина.

Тот нетерпеливо покусывал свои розовые губы, и, казалось, на языке у него были пчелы, которые вот-вот сорвутся и ужалят одного, другого.

Он точно дожидался какого-то неизбежного слова, чтобы ухватиться за него и выпу-

стить своих пчел. И вот, когда акварелист Бельский, только что явившийся из концерта и ухвативший предмет спора, воскликнул, что для художников не должно существовать обычной морали, писатель ударил ладонью по столу:

— Я так и знал, что это в конце концов будет сказано, — с торжеством заявил он. — Это очень выгодная позиция для художников, но стеснительная для общества. Конечно, есть проступки, которые не караются тюрьмой, потому что для них достаточно презрения. Но почему именно художники должны быть оправданы в таких случаях, я не знаю. Не потому ли, что за ними числятся особые заслуги? — вызывающе спросил он, насмешливо оглядывая компанию.

— Хотя бы и потому, — заносчиво ответил Бельский. Но Тит мягко его остановил:

— Постой, постой. Он, — указал Тит на писателя, который продолжал бросать остальной наступавшей на него компании вызывающие слова, — он сам сейчас говорит не то, что думает. Ты что же это, — с негодованием обратился он к писателю, которого он очень

читил. — Ты же сам говорил, что все в мире должно быть оправдано, чтобы люди могли жить, как велит природа и совесть, чтобы не было лицемерия и принуждения, которые запутывают движения жизни. Или ты мне этого не говорил? — обиженно и настойчиво спрашивал он, впиваясь в нервное и побледневшее лицо товарища своими наивными и честными глазами.

Эти простые, сердечные слова заставили как-то сразу всех примолкнуть. Но общее внимание смутило художника. Он вдруг покраснел, улыбнулся и, опять сделав в воздухе рукою свой обычный жест, как будто ставил запятую, сказал:

— А, впрочем, черт здесь разберет.

Дружинин медленно выцедил полбокала белого вина, расправил усы, обвел внимательным взглядом враждебно настроившуюся к нему компанию, остановил этот взгляд на упрекнувшем его в противоречии художнике и вдруг улыбнулся так же, как и он, мягко и примиренно:

— Ну, чего вы? — почти виновато спросил он. — Вот раскипелись.



И чокнувшись с Титом, он допил остатки своего вина, и от его раздражения не осталось следа.

Художники хорошо знали в нем эти перемены, когда он пил: от раздражительного возбуждения, в котором доходил до злости, становился придирчив и нетерпим, он легко переходил к необыкновенной мягкости, уступчивости и даже нежности. Обычно расчетливый, он в такие минуты становился очень щедр, и сейчас также неожиданно заявил, что ставит кофе с ликерами.

— Звони, Ольхин, во все колокола! — крикнул он особенно наскაკивавшему на него за минуту перед тем товарищу.

Лесли сел за пианино и громко забарабанил туш.

— Импровизацию! — хором обратились художники к Дружинину.

— Идет, — ответил Дружинин с вспыхнувшим взглядом, и лицо его стало сосредоточенно, почти таинственно. В такие минуты он охотно импровизировал стихи под аккомпанемент Лесли, который заражался его настроением, улавливал музыку, переполнявшую

опьяненную кровь и сердце поэта. Товарищи очень ценили эти минуты, когда нельзя было не любить Дружинина. Очевидно, и на этот раз, как они выражались, его прорвало. Теперь кутеж пойдет вовсю. Наверно, не ограничится только этими стенами и, как порой случалось, может перейти в оргию.

— Так-то лучше, — обрадовался Кроль.

— Досадно, что нет Стрельникова, — пожалел Даллас и этим едва не испортил все дело.

Дружинин, уже приготовившийся к импровизации, при упоминании о Стрельникове вдруг нахмурился, рука его машинально потянулась к стакану, но глоток холодного белого вина залил враждебный огонек.

Опустив ресницы, прислушиваясь к импровизации музыканта, который как бы весь уходил в клавиши, он стоял с лицом лунатика, подчиняясь этим звукам, и когда поднял голову, все затихли, точно ожидали чуда.

Медленно поднялись его ресницы, и взгляд был блуждающий и полный тоски. На губах, запекшихся от острого возбуждения и вина, точно осела горечь. И всегда спокойный и уверенный голос зазвучал напряжено и глу-

ховато, гипнотизируя слушающих.

Что это было: фантазия, сказка, стихи или проза, тоска одинокого сердца или хмельные грезы наркотика, который почти бессознательно бредит тайнами, обыкновенно запечатанными в глубоких уголках души?

Он всегда импровизировал опьяневший, среди охмелевших и, может быть, им только казалось, что все это необычайно прекрасно. По крайней мере, часто потом, стараясь восстановить смысл того, что он говорил, они вспоминали только отрывочный слова, отдельные образы, иногда действительно прекрасные и нежные, но не помнили самого главного, что составляло душу этой импровизации, ее музыку, для которой аккомпанемент пианино служил только как палка для слепого, захваченного бурей в бездорожье.

Никому не приходило в голову записывать этот бред. Может быть, именно потому, что не хотелось лишиться одного из сладких очарований, превратить в пустую, мертвую ложь не только то, что жило в опьяненной душе поэта, но и в них самих. Страшно было творческую тайну, общую для всех них, старею-

щихся, неудовлетворенных и тоскующих, превратить в скелет, который мог лишь внушить скуку и смущение.

И сам поэт на другой день почти не помнил того, что творил. Ему случалось не раз сочинять стихи во сне, и сознавая, что это сон, он в то же время напрягал все силы, чтобы закрепить эти стихи в памяти, но это никогда не удавалось. Проснувшись, он еще ощущал в себе след их музыки, но образы и слова разлетались как птицы, которым пробуждение открывало дверь из клетки.

Дружинин кончил свою импровизацию, и пока звуки музыки, как осыпающаяся на гроб земля, как бы хоронили что-то заживо опущенное в могилу, он стоял, стиснув зубы, опустив ресницы.

Лицо его вытянулось, осунулось, и на гладком, правильном лбу выступил пот.

Даллас поднес ему стакан с вином, и он жадно прильнул к нему губами и стал с наслаждением цедить холодную струю сквозь зубы, пока бокал не опустел.

## IV

Когда в следующий четверг художники собрались для обычной предобеденной прогулки, они встретили на условленном месте Стрельникова и Ларочку. Это несколько удивило их: почему-то не ждали, что он после того вечера снова приведет ее.

Как бы оправдываясь перед ними, Стрельников полушутливо сказал:

— Нет, вы только подумайте, господа; вы так понравились Ларочке, что она меня упростила взять ее нынче в нашу компанию, хотя бы лишь на прогулку. Только с этим условием и согласилась мне позировать для портрета.

Девушка застенчиво поеживалась, улыбалась и почти умоляюще глядела на художника.

— Ну, да, я очень этого хотела, — чистосердечно созналась она. — Ведь я вам нисколько не помешаю. Правда?

И глаза ее почему-то обратились прежде всего на Дружинина, который с усиленным вниманием рассматривал новое приобретение Далласа: маленький складень шестнадца-

того века с синей эмалью, ярко и свежо блестящей в углублениях старой меди.

Стрельников так и загорелся при виде этой старины.

— Есть мена, — обратился он к Далласу, любуясь иконкой.

— Что у тебя? — спросил Даллас. — Хвались.

— Есть миниатюрка на слоновой кости — женская головка, и старинная литография.

— Э, знаю, у Моисеева приобрел?

— Да, он принес мне.

— Вот свинья, — ревниво заметил Даллас. — Ведь он обещал мне их уступить, а ты перебил. Ну, да это не Бог вещь какие сокровища, — сказал он больше для своего успокоения.

В то время, как другие художники старались рассеять ее смущение, она, с благодарностью кивая им, слушала этот непонятный для нее разговор, несколько задетая невниманием к ней Дружинина.

Подошел трамвай, и художники поспешили сесть. Трамвай отправлялся в дачные места, и кроме них в вагоне никого не было.

С торговой площади, где пахло турецким кофе, фруктами и вином, и где движение и говор были пестры и разноязычны, вагон трамвая помчался с легким жужжанием, поворачивая из одной улицы в другую, взлетая с уклона на подъем. Несколько раз во время пути в пролеты улиц открывалось море, клочки шумного торгового порта, с тонкими мачтами судов и разноцветными трубами пароходов.

День был серый, но тихий и теплый, несмотря на конец сентября, и в воздухе стояла та светлая задумчивость, от которой в душу веет безбольной грустью и покоем.

Большинство художников были уроженцы этого города и очень его любили. Они то и дело обращали внимание спутницы на то, что пленяло их глаза, и с гордостью уверяли, что подобного города не найти в целом свете.

— Тут и тон, и освещение, все удивительно, — уверял Ольхин. — Недаром наш писатель, случайно заехав сюда десять лет тому назад, остался с нами и ездит в Петербург и Москву только, как на базар.

Дружинин с Стрельниковым и Далласом

сидели с другой стороны вагона и продолжали свою беседу.

Рассеянно слушая художников, хваливших город, девушка посматривала в ту сторону, и невнимание Дружинина непонятным образом продолжало ее беспокоить. Ей не верилось, что это невнимание происходит оттого, что он также занят этой иконкой. Наконец, она не выдержала и спросила, обращаясь скорее к Стрельникову и Далласу.

— Объясните мне, пожалуйста, почему вас так привлекает эта старая иконка?

Ответил Стрельников:

— Слишком долго надо объяснять.

Она обиженно поджала губы, но Даллас галантно пояснил:

— Нет, отчего же. Видите ли, эта вещь, во-первых, интересна сама по себе, как произведение своеобразного искусства, во-вторых, подумайте, ведь ей несколько столетий. Тысячи, нет — миллионы людей, устремляли на нее свои глаза, полные веры и, может быть, слез. Каждая такая вещь волнует душу, роднит меня с теми далекими людьми. Да... да... да, — как будто она собиралась возразить ему, по-



спешил подтвердить художник. — Это своего рода маленький медный мостик между мною и людьми прошлых веков.

Его объяснение не только ей понравилось, но даже несколько ее тронуло. Тем неприятнее показалась ироническая улыбка Дружинина.

— Это не что иное, как басня, — заметил он. — Есть история, литература, поэзия, наконец, настоящее искусство, которые действительно служат указанной им цели, а это... — повел он глазами на иконку, — это игрушки.

— Ого, — снисходительно улыбнулся Даллас.

Писатель, не смущаясь, продолжал:

— Такими пустяками занимаются люди, когда жизнь нищает. Одни собирают коллекции марок, другие — трубок, третьи, покультурнее, — иконок или старинных книг, которые, однако, гораздо удобнее для чтения в новых изданиях.

Может быть, в его словах и была правда, но ей не нравился его тон, и она, краснея от своей смелости, возразила:

— Я с вами не согласна. Тут действительно

что-то есть. Я, например, сама люблю ходить в музей, где есть скелеты древних животных и разные окаменелости.

У него чуть-чуть сощурились глаза от сдерживаемой улыбки, и она еще более покраснела от испуга, что сказала глупость, да и почувствовала, что Даллас поддержал ее, как ребенка, когда воскликнул:

— Bravo, Ларочка! Хорошенько его.

Дружинин обратился к ней, но глядел не в лицо, а куда-то поверх ее лица, на белую связанную ею самой шапочку. Эта шапочка уже порядочно запылилась и помялась, и мысль об этом еще более ее смутила.

— Скелеты, кости... о, это — другое, это — наука. Я уверен, что ни Даллас, ни Стрельников, ни многие другие, поддавшиеся нынче этому поветрию антикварства, не стали бы заниматься такими вещами, ну, хотя бы в девятьсот пятом году.

— Так, так, — насмешливо закивал головой Даллас. — Удивительная проницательность. В таком случае и собрание старинных картин, гравюр...

— Обломков мебели, фарфора и дверных

ручек... — иронизировал Дружинин, пародируя его тон.

— Мебели и фарфора, — утвердительно кивая головой, принял его реплику Даллас. — Все это показатели безвременья? Так, так.

Все художники приняли сторону Далласа, и та крупица правды, которая была в его отповеди, затерялась в шуме и крайностях спора, который перестал быть интересен девушке, как только Дружинин пожал плечами перед этим беспорядочным и не всегда логичным натиском товарищей.

Но шум сам собой прекратился, как только компания вышла из трамвая за городом, где начинались дачи.

Еще от постоянного мелькания сквозь стекла трамвая некоторое время в глазах чуть-чуть рябило, но это ощущение скоро прошло, и взгляд с удовольствием останавливался на опустелых дачах, молчаливо замерших в облетевших осенних садах; на сероватосинем море, которое открывалось перед ними среди деревьев; на куртинах поздних цветов, большей частью по-осеннему запущенных и помятых, отмеченных преобладанием

красных и желтых цветов.

Но к этому кроткому серому дню больше шли не кричащие, а глубокие и светлые тона, и почему-то взгляд с особенной нежностью останавливался на хризантемах.

Это был сезон хризантем: хризантемы были в домах, садах и на улицах: они смотрели сквозь стекла окон, курчавые и чистые, как детские головки, продавались чуть ли не на всех перекрестках улиц, улыбались из автомобилей и экипажей, качались в руках пешеходов на своих длинных гибких стеблях. Здесь, где теперь шли художники, было царство хризантем: их везли на продажу в город, и возы казались цветущими островками, поднятыми из сказочных озер; их несли целыми охапками, снопами, перевязанными мочалами и рафией. Лепестки хризантем, а нередко и цветы, попадали под ноги на мостовой и на панели. Но очаровательнее всего эти цветы были на грядках садов: прекрасные и гордые хризантемы курчавились, как пена, чаще всего белые со всеми отсветами и переливами перламутра. Казалось, душа этого кроткого серенького денька, со всем его покоем и лаской,

жила в этих цветах, таивших в своем еле уловимом аромате печальный намек смерти, дыхание сыроватой земли свежеразрытой могилы.

В одном из таких приморских садов художники остановились, залюбовавшись хризантемами: легкие, светлые кудри их рисовались особенно пленительно на густой темной зелени туй. Все невольно затихли, очарованные.

— Точно страусовые перья на траурном катафалке, — тихо, как бы про себя, сказала девушка, растроганная никогда невиданным ею.

Это сравнение, вырвавшееся у нее почти безотчетно, как вздох, и так же тихо, было, однако, услышано всеми, и первый с удивлением взглянул на нее Дружинин: в этих немногих словах открылся уголок женственной чуткой души, поэтическое проникновение, которого никто до сих пор не подозревал в этой худенькой рыжеволосой девушке.

Она сама и не подозревала о таком впечатлении, но Стрельникову ее душевная тонкость не была нова, только раньше он не ценит этого так, как оценил сейчас.

— Пойдемте, Ларочка, к садовнику, я хочу преподнести вам хризантемы.

— Позвольте уж тогда и мне преподнести, — склонил перед ней голову Даллас.

Но Ольхин засуетился среди товарищей.

— Нет, мы должны, господа, все преподнести Ларочке по хризантеме, чтобы никому не было обидно.

— Словом, тринадцать хризантем, — считал Тит.

— Ой, ой, тринадцать. Я ужасно как суеверна.

— Чтобы избавить вас от рокового последствия, я... — Дружинин несколько замялся и закончил, опуская ресницы, — воздержусь от подношения.

Девушка вспыхнула от новой обиды.

Ольхин, чтобы посмеяться над его расчетливостью, воскликнул:

— Э, знаем. Это ты вывернулся так из экономии.

Стрельников весело поддержал его:

— Ничего. Мы проведем рок и поднесем Ларочке по две хризантемы.

Художники дружно приветствовали на-

ходчивость Стрельникова и гурьбой отправились разыскивать садовника.

Они нашли его у оранжереи около парников, где пахло тепло и терпко навозом и землей. Он наблюдал за двумя молодыми парнями, которые, стоя на коленях, перегнувшись через борт парника, ровными рядками, втыкали в черную потную землю ярко зеленые череночки буксуса, и, казалось, что эти взрослые люди, вместе с усатым краснолицым немцем-садовником, не серьезное дело делают, а играют, и самые эти изумрудные отводочки на черной земле напоминают армию игрушечных солдатиков.

Садовник важно выслушал их, молча кивнул головой и направился к хризантемам, а они следовали за ним, чувствуя невольное почтение к этому серьезному немцу. В своем громадном саду он являлся чудодеем, которому были подчинены и эти старые и молодые деревья, и цветы, и каждое брошенное в землю зерно. Он был также художником, но его полотном была эта вечная земля, и он творил на ней настоящее прекрасное дело.

Они подошли к двум грядкам хризантем,

расходившимся под прямым углом. Хризантем было здесь сотни, и они так тесно прижались друг к другу, что им должно было быть душно в этой тесноте. Высокие и сильные, хризантемы соперничали одна с другой своим ростом, пышностью и нарядностью.

Не было двух цветков даже на одном растении совсем одинаковых.

Дружинин первый указал пару белых хризантем; их срезали с длинными стеблями, но, держа их в руках и любуясь этими двумя нежными и хрупкими сестрами, похожими по виду одна на другую, как близнецы, он все же заметил, что одна из них впадала в прозрачно-молочный тон северского фарфора, другая в палевую золотистость слоновой кости.

Он не отводил глаз от их грациозно кудрявившихся атласных лепестков и не мог устоять, чтобы не коснуться их своим лицом. Прохладные чистые лепестки защекотали его кожу, точно сотни младенческих губ коснулись его с безгрешной лаской. Он едва не засмеялся от какого-то умиленного предчувствия в то время, как лицо сохраняло суховатую бесстрастность и спокойствие.



Скоро в руках художников задрожали на длинных стеблях хризантемы: тринадцать пар хризантем и каждая пара одинакового тона. Они любовались ими, шутили и спорили, чьи красивее: эти, частью уже начинавшие сесть люди, ребячески радовались своей затее; не дожидаясь, когда уйдет садовник, они наперебой стали преподносить свои цветы рыжеволосой девушке с полушутливыми напутствиями и незамысловатыми любезностями.

Она сначала принимала цветы правой рукой, отвечая улыбкой с радостным волнением, от которого пылали щеки и не хватало слов: все было так ново и неожиданно для нее. Она чувствовала себя маленькой королевой, которой подданные подносили дары. Всем этим она была обязана Стрельникову, и смотрела на него светящимся растроганным взглядом, полным ласкающей признательности.

О Дружинине в эту минуту она забыла. Маленькие пальцы обеих рук ее уже не могли охватить цветочных стеблей, но ей не хотелось оставлять этой прекрасной дани в руках кого-нибудь из них, и она сложила все стебли на согнутую левую руку. Цветы были так легки, что каждая новая пара, почти не увеличивая тяжести, ложилась поверх других цветов, которые уже начинали подбираться к ее лицу.

Стрельников, вдруг почувствовавший прилив необыкновенной радости, дурачась, опустился перед ней на одно колено и с шутливо высокопарной речью присоединил свои оранжевые хризантемы к вороху других:

— О, богиня, удостой принять сии скромные злаки, кои, вместе с моими вздохами, да расположат твое сердце к покорным мольбам!

Она хотела бы ответить такими же шутливыми словами, но побоялась, что у нее это выйдет неуклюже, и пожалела искренно, что она такая глупая и неумелая.

Но ее глаза, губы, сердце смеялись задорным мальчишеским смехом, и Дружинин чувствовал от этого смеха томительное волнение. Еще в прошлый раз, когда она пела, он всеми нервами ощущал как бы прикосновение ее голоса, а сейчас этот смех он воспринимал еще более чувственно.

Это новое для него состояние почти раздражало трезвую упорную мысль. Сознательно, чтобы прервать этот смех, он подошел к ней и протянул свои хризантемы последний.

Смех ее оборвался, и взгляд с полупритворным изумлением обратился к нему.

— Как, и вы?

— И я, — ответил он. И ему было приятно, что положенные сверх двенадцати пар, его хризантемы касались ее шеи.

Взглянув прямо в глаза девушки, он тихо, почти шепотом спросил ее:

— Может быть, мое подношение вам неприятно?

— Нет.

— Что нет?

— Наоборот, — она также невольно понизила голос. — Если от души. Мне показалось,

что это вы сделали только, чтобы не быть невежливым.

— Может быть, — холодно пробормотал он. — Я еще не разобрался в этом. Вообще же я не принадлежу к тем, которые подкупают чувства женщин разным вздором.

Цветы на минуту потеряли для нее всякую цену, но затем ею овладело неприязненное чувство к нему. «Какой он злой», — подумала она и отвернулась.

Художники рассчитывались с садовником за хризантемы. Ему заплатили, как платили в городе: по гривеннику за штуку. Немец не только остался доволен, но, срезав еще две пышных хризантемы, также преподнес их девушке своими невероятно крупными, красными, загрубелыми руками.

Это окончательно сгладило в ней неприятное впечатление, вызванное словами Дружинина. Она обернулась к нему с таким взглядом, который должен был обличить его несправедливость.

Он закурил в это время папиросу и не без намерения обратить на себя ее внимание, когда спичка почти догорела, взял за обуглив-

шийся конец и дожидался, пока она вся стогрит.

«А ведь это он гадает, — подумала девушка. — Желала бы я знать, о чем?»

Спичка в его пальцах догорела до конца, тогда он взглянул на девушку, и она, как пойманная, смутилась, но, вспомнив все его обиды, вызывающе встретила его взгляд и, прижимая к груди хризантемы, воскликнула:

— Вот какая прелесть! Мне хочется их расцеловать, как будто все это мои дети.

Художники увидели в этом восклицании наивность, но Дружинину оно показалось неестественным и не понравилось. «А, да не все ли равно, — обличил он сам себя. — Не жениться же я на ней собираюсь».

Стрельникова не покидало ребяческое веселое настроение.

— Ну, теперь, господа, айда к морю. Мы с Ларочкой впереди, как король с королевой, а вы наша свита.

Через большой сад отправились к обрыву, откуда начинался спуск к морю. С наслаждением вдыхали запах хвой и увядших листьев, багровыми кучами сваленных при дорожках.

Местами рабочие обкладывали ими розовые кусты.

— Точно деток закутывают одеяльцами, — заметила Ларочка.

— Это столько же для тепла, сколько и для удобрения, — объяснил Стрельников, желая щегольнуть своими познаниями в садоводстве, за что был поднят тотчас же на смех товарищами.

Приятно было на ходу опустить ногу в ворох этих листьев, они издавали легкий треск и шелест, как бы жалуясь на то, что их потревожили.

Сквозь ветки деревьев белели кое-где мраморные статуи, трогавшие девушку безмолвными намеками на заброшенность и одиночество. Все это было для нее диковинно, почти сказочно: эта аллея, по которой они шли, аллея редких старинных платанов с стволами пятнистыми, как шкура ягуара; большие узорчатые листья их, как желтые лапы, лежали на земле; эти огромный бархатные туи, то глубоко зеленый, то почти голубые, то подернутые красноватой ржавчиной; до земли склоняли они тяжелые, кринолином ложив-

шиеся ветки, а из белеющих на обширных изумрудных газонах ваз сливались потоки темного блестящего плюща и вьющихся растений с красными, как запекшаяся кровь, листьями. Весь этот сад, принадлежавший греку-миллионеру, предки которого, как говорили, были пираты, его старинный каменный дом с тяжелыми колоннами, с широкой лестницей, видневшийся в глубине справа, наглухо закрытый и напоминавший печальный саркофаг, — все это очаровывало девушку, пленяло до восторга, но она таила его в себе, чтобы не показаться дикой.

Когда все подошли к низкой каменной балюстраде, идущей вдоль обрыва, — до самого горизонта широко открылось серовато-синее море, зеленоватое у скалистого берега, как ярь на меди. Все сразу замолкли, покоренные печалью красоты и величия.

Несмотря на обилие темно-зеленой хвои, изумрудной травы и красных листьев, общий тон был благородно-серый, и художники, молча озираясь, уже уносили в своих зорких и внимательных глазах новые мотивы.

— Будьте любезны, — конфузясь, обратил-

ся Тит к девушке, — постоитте вот здесь минутку, пожалуйста. Вот так.

И он, оставив ее у балюстрады, сам отошел в сторону и, то склоняя, то вытягивая голову и щуря глаза, залюбовался картиной, среди которой женская фигура в темном, с ворохом красочных хризантем, рисовалась необыкновенно выразительным пятном.

— Чудесно, чудесно, — шептал он про себя с восторгом. — Эх, если бы вы могли так пополизировать мне хоть несколько минут.

Прежде, чем она согласилась, он уже топорливо раскрывал карманный этюдничек с неизменными шестью красками на палитре, из которых он создавал целые богатства тонов.

Ольхин и даже Даллас с ревнивой завистью к счастливому мотиву тихо переговаривались между собой по поводу этой сдержанной гаммы в сером. А запасливый гугенот щелкнул своим кодаком и поклялся, что он, «с... собственно говоря», обретет этим мотивом бессмертие, написав панно — Счастливая осень.

Художники, растроганные молодостью и



сиянием жизни, среди увядающей природы, на фоне тихого осеннего моря и неба, любовались всем с грустью артистов, которых тронула уже осень жизни, и только эти дружеские встречи, повторявшиеся чуть ли не со школьной скамьи, заставляли их забывать о появлявшихся сединах и морщинах.

— Вы у меня совсем избалуете Ларочку, — пошутил Стрельников.

— У тебя? — иронически спросил Дружинин.

Стрельников, уже забывший о пикировке на прошлом четверге, снова насторожился. Это уже было явно неспроста. Недаром всю эту неделю Дружинин ни разу не заглянул в его мастерскую.

Чтобы подчеркнуть шутливость своих слов, Стрельников продолжал в том же тоне:

— Да, у меня. Ларочка находится под моим покровительством, и так как у нее нет здесь никого старших, я принял на себя роль ее надзирателя и наставника.

Он сказал это с такой комической важностью, что художники безобидно рассмеялись. Засмеялась и сама девушка.

— Не оглядывайтесь, ради Бога, не оглядывайтесь, — взмолился Тит, покрывая метками быстрыми мазками маленькую дощечку.

Дружинин в тон Стрельникову ответил:

— О, да, ты у нас известный наставник.

Это уже была явно обидная выходка. Чтобы проверить свое впечатление, Стрельников окинул взглядом товарищей, они удивленно покосились на писателя, который стоял в некотором отдалении, заложив за спину руки.

Он взглянул на девушку; она продолжала улыбаться, очевидно, не придавая никакого значения сказанным с обеих сторон фразам. Лицо ее было обращено в сторону противоположную той, где стоял Дружинин. Тогда Стрельников в упор подошел к нему и тихо сказал, глядя в голубовато-серые холодные глаза:

— Мне не нравится то, что ты говоришь, и твой тон.

Тот бесстрастно выдержал его взгляд и спросил:

— Ну и что ж?

— Видишь ли, если это шутка, об этом

можно забыть, а если нет...

Он как-то сразу взволновался, но, подавив это волнение, с неожиданной мягкостью закончил:

— Мне будет жаль наших дружеских отношений.

Художники не могли не заметить этой сцены: размолвки между ними были нередки, но все, как выражался Кроль, происходили на товарищеских дрождах; здесь же чувствовалось иное.

— Наш пузан был прав, — вспомнив еще раз отсутствующего архитектора, прошептал Волков.

Ларочка обратила внимание на эту перемену в настроении художников и украдкой повернула голову в сторону объяснявшихся.

— Ради Бога, не поворачивайте головы еще минутку, — опять взмолился Тит, весь поглощенный своей работой, и, смешно шевеля усами, продолжал торопливо делать мазок за мазком, быстро меняя кисти. — Сейчас... сейчас... — приговаривал он.

Она с трудом преодолевала свое тревожное любопытство. Наконец, художник с сожа-

лением оторвался от работы, вздохнул и сказал:

— Баста.

Тогда она обернулась и уже ясно увидела, что ее тревога не напрасна.

Из-за высокого левого плеча Стрельникова, как-то особенно жестко и строго вырисовывался матовый черный котелок писателя. Из всей этой компании он один был в котелке. Она только сейчас заметила это, и тут же почувствовала, что в эту минуту отношение к нему художников было неприязненное.

И, вероятно, поэтому ей вдруг стало его жаль, а принятые ею за обиду слова его, помимо ее воли, получили совсем иное значение и оправдание.

Решили идти к морю.

Еще сама не зная, в чем выразится ее участие, прежде всего толкаемая любопытством, Ларочка подошла к Стрельникову и сказала:

— Побежим к морю.

С лица его не сошло еще выражение неестественной сдержанности, но от прикосновения к его руке тонких пальцев девушки ему стало легко и весело. Он сжал эти пальцы

и не успел еще ей ответить, как она потянула его за собою и быстро побежала вниз. Он едва успевал за ней, скользя по крутому, усыпанному отшлифованным песком спуску, пока они не очутились у красных осыпей берега над самым морем, тихо поплескивавшим на широкую песчаную полосу, тянущуюся вдоль береговых осыпей и на мшистые осклизлые камни, выступавшие из воды.

Остальные медленно спускались далеко позади.

Еще вся раскрасневшаяся и задыхавшаяся от быстрого бега, она обратила на него свои широко открытые глаза и быстро спросила:

— Что у вас с ним произошло? Вы поссорились? Это все заметили.

— Покуда еще нет, — ответил он, стараясь показать, что совсем не так запыхался от этой гонки.

Ему самому происшедшее наверху показалось пустым недоразумением.

— Я не хочу, чтобы это было из-за меня, — сорвалось у нее.

Ее пронизательность удивила его и показала подозрительной.

— Почему вы думаете, что это из-за вас?

Она как-то угловато пожала плечами.

— Я не знаю. Может быть, мне показалось.

Тогда он с неожиданной для себя откровенностью сказал:

— Да, из-за вас.

Ревнивое чувство укололо сердце, и, чтобы испытать ее, он, прямо глядя в ее глаза, заявил:

— Он, очевидно, боится, как бы я не увлек вас.

Стрельников ожидал, по крайней мере, смущения, но она только подняла голову, и в глазах ее блеснул зеленоватый кошачий огонек. В первый раз за все время их знакомства ему осветилась этой мимолетной искоркой душа женщины. Он взглянул в ее разгоревшееся лицо с знакомым ощущением влечения и беспокойства. Эти тонкие нежные ноздри, неправильно очерченный рот с изгибами еще неиспытанной чувственности и рыжие волосы, как будто бросавшие теплый отблеск на прозрачную белизну ее кожи, отмеченной веснушками под зеленовато-серыми настороженными глазами, все это показалось ему но-

во и притягательно.

Она с гримасой ответила:

— Какое же ему до этого дело?

Это явное притворство почти оскорбило его. Товарищи были совсем близко, надо было кончить этот разговор и, главное, показать ей, что он понимает ее игру. Он с несдержанным раздражением ответил:

— Это уж вы спросите его.

Она на минуту растерялась, почти испугалась, но, когда он, заложил руки в карманы, как будто беспечно стал что-то насвистывать, она украдкой бросила на него из-под ресниц мимолетный, зоркий взгляд, и в нем зажглась искорка тайной надежды и торжества.

Она прислонилась к стволу корявого, согнутого бурей дерева и прикинулась усталой и отдыхающей.

Художники с ласковым вниманием обращались к ней:

— Что, Ларочка, видно устали?

— Вы бегаєте, как лань.

— Удивительно, как Стрельников не сломал с вами свои длинные ноги.

Она только посмеивалась на эти слова.

Две чайки беззвучно пролетели невысоко над головой и с остановившимися крыльями стали опускаться на еле-еле колыхавшуюся воду.

Дружинин шел последним в некотором отдалении от всех.

Опять бросив взгляд на Стрельникова, который о чем-то беседовал с товарищами, девушка обратилась к писателю:

— Боже, как хорошо!

Он остановился около нее и ответил:

— Да, и мне как-то особенно по душе эти серые дни без звуков и без теней.

Всем бросилось в глаза внезапное равнодушные Стрельникова к девушке, с которой он несколько минут тому назад мчался, как безумный, а когда она тихо заговорила с Дружининым, кое-кто объяснил себе это по-своему.

— Гм... — скептически заметил Бельский, любивший выражаться афоризмами. — Если женщина хочет примирить двух слегка повздоривших приятелей, они поссорятся вконец.

— Особенно, если приятели повздорили



из-за нее самой, — добавил Ольхин.

Подошел Стрельников, и разговор прекратился. Стрельников с преувеличенным оживлением предложил состязаться, кто дальше бросит камень, и первый сошел на песок, местами уступавший гравию. Он выбрал среди обточенных волнами камешков подходящий и швырнул его в море по тому направлению, где поднимал серый парус дубок, забиравший отсюда песок и гравий.

Камень вонзился далеко от берега в воду, и слышно было, как вода глотнула его, как будто сочно прицелкнув языком. Остальные, кроме Дружинина, присоединились к нему, и камни полетели вдаль, на миг тревожа воду и вызывая из нее забавляющие их звуки.

Медленно распуская парус, дубок, с выцветшими синими и красными полосами, тихо шевелился, отражаясь в воде вплоть до кончика своей мачты, и вместе с ним пошевеливалась маленькая черная, привязанная к нему лодочка.

## VI

Ларочка стояла все на том же месте возле дерева и не знала, как ей приступить.

— Вы сегодня не в духе, — обратилась она наконец к писателю.

— Почему вы думаете? Мы видимся всего второй раз, и вы совсем меня не знаете.

— Я не знаю. Но для того, чтобы видеть, что человек не такой, какой он на самом деле, вовсе не нужно непременно видеть его много. Это чувствуется.

— Нельзя слишком полагаться на чувства.

— А я всегда полагаюсь на чувства прежде всего: чувство редко обманывает.

Он много раз слышал эту банальную фразу, повторяемую вопреки здравому смыслу, вопреки ежедневно, ежечасно опровергающему ее опыту. Однако, вместо всяких возражений, он спросил не совсем решительно:

— А какой же я по-вашему на самом деле?

— Такой, какой не станет так обижать товарища, — по-детски укоризненно ответила она.

— Вы правы, — с неожиданной искренно-

стью сознался Дружинин.

Странно, до сих пор он, как писатель, привык, или по крайней мере брал на себя смелость судить людей по первому впечатлению, а здесь никак не мог разобраться в таких простых вещах: чиста она или порочна, даже глупа или умна.

Его это раздражало, и потому, желая положить конец своему недоумению, он решил ошеломить ее таким вопросом, который должен был сразу, если не все, то многое ему объяснить:

— Скажите, любили ли вы когда-нибудь?

Она быстро обернулась к нему и серьезно спросила:

— А вам это нужно знать?

В этом вопросе было что-то, требующее настоящего ответа, и он ответил:

— Да, нужно.

— Нет, пока еще не любила.

— Но ведь вам же нравится Стрельников?

Она без всякого жеманства ответила:

— Что ж из того! И вы мне нравитесь.

Он сделал вид, что не дослышал последнего признания, или не придавал ему цены. Да

при таком сопоставлении оно не могло его особенно обрадовать.

— И, конечно, вы ему нравитесь, — продолжал Дружинин. Но не выдержал принятой им роли и перебил сам себя почти с отвращением: — А черт возьми, «нравитесь», «не нравитесь», есть что-то невероятно пошлое в этих словах и вообще... Я только хочу сказать, — краснея за свою несдержанность, с внезапной горячностью поторопился он выяснить свою мысль: — Я вовсе не моралист. Я ненавижу все это. Человек должен от многого освободиться, чтобы жизнь была свободнее и светлее. Но отвратительно, когда и картофельная ботва и прекрасные цветы принимаются только как средство для удовлетворения аппетита какого-нибудь жвачного.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — чистосердечно заявила она, чувствуя в его словах какой-то затаенный злобный намек.

— Я говорю о Стрельникове! — раздраженно вырвалось у него. — Стрельников не из тех, кому нужно светлое чувство, да он и не оценит жертвы, — и, заметив в глазах ее промелькнувшую тень, поспешил прибавить:

— Я говорю это вовсе не с целью уронить его в вашем мнении. Прежде всего я это хотел сказать ему самому, но нас прервали. И все же, я ему нынче скажу.

— Нет, — остановила она его с таким жестом, точно движением руки пресекала это ревнивое решение.

— Скажу.

— Говорю вам, нет, — повторила она, глядя ему в глаза, с загоревшимся взглядом. — Если вы сделаете что-нибудь подобное... — В тоне и во взгляде ее появилась почти угроза, но она тотчас же овладела собой и повернула в другую сторону. — Вы прежде всего сделаете плохо мне. Я сама всегда пойду к тому, кто потерпит из-за меня. Да, я такая... вот... — вызывающе закончила она и как-то по-детски поджала губы.

«Взбалмошная девчонка», — решил Дружинин и втайне почти согласился отступить от предстоящего объяснения с Стрельниковым.

Она уловила это выражение в его глазах и улыбнулась мягко и светло.

— Так гораздо лучше. А теперь пойдете к

ним. Как хорошо, как хорошо, — говорила она, на ходу покачивая головой. — Так вот в сердце дрожит что-то и хочется петь. Мне всегда хочется петь, когда я чувствую что-нибудь особенное.

— Это часто у вас бывает? — спросил он тоном врача.

Она вся обернулась к нему и с озарившим ее лицо радостным смехом ответила:

— Всегда, когда я вижу или чувствую что-нибудь хорошее.

Едва Стрельников увидел приближавшихся Ларочку и Дружинина, он предложил товарищам пойти по берегу вплоть до мыса, а оттуда через дачу Альтани к трамваю.

Пошли то по песку, то по гравию, а там, где дорогу преграждали камни и скалы, поднимались наверх и шли по холмам.

Стрельников явно умышленно шел впереди, почти не оглядываясь. По голосам он слышал, когда Ларочка приближалась и выбирал самые трудные пути и подъемы. Ей пришлось бы бежать за ним, чтобы нагнать, а это было совестно.

Наконец, она окликнула его. Он уже хотел

притвориться, что не слышит, но это было бы слишком очевидно, раздумал и, как бы нехотя, обернулся вопросительно равнодушно.

— Подождите, мне нужно вам что-то сказать.

Он остановился как раз около заколоченной темно-красной купальни, стоявшей над водой на длинных сваях, отражения которых качались в воде, как вьющиеся корни.

— Помнишь, — крикнул он Ольхину, — как мы заперли ростовщика Зингера в купальню и из-за кустов бомбардировали ее камнями.

Ольхин смеялся.

— Да, это был номер. Хорошо, что Зингер не узнал, что это мы. Он мне же потом жаловался, что чуть не сошел с ума от этого адского грохота.

И Стрельников продолжал неестественно сменяться, смех перешел в улыбку, но и улыбка была непродолжительна. Подумалось: как это было, однако, давно. Стало грустно, и он вздохнул. Ларочка подошла к нему с своими хризантемами.

— За что вы сердитесь на меня? — с уко-

ром тихо спросила она Стрельникова.

Он шевельнул головой.

— Нет, какое же я имею право.

— Вот, видите, и слова говорите такие.

— Какие?

— Ненужные. И бежите от меня, как будто боитесь, что я выключу вам глаза. Ну, посмотрите, разве я похожа на злую, хищную птицу.

Он взглянул на нее, она опять показалась ему какой-то сказочной с этими выбившимися из-под шапочки бронзовыми волосами и снопом цветов.

— Дайте вашу руку, пойдем.

И рука ее точно приросла к его руке. У него забилось сердце, и он не узнал себя в этом давно не посещавшем его волнении.

— Что вы хотите от меня? — спросил он, все еще ревнуя и борясь с собою.

— Я хочу, чтобы вы были со мной такой, как всегда. — Она даже не заметила, что обратилась к нему почти с теми же словами, как несколько минут тому назад к Дружинину.

— Но ведь и вы сами не такая. Вернее, я считал вас не такой.

Она воскликнула с искренним огорчением



и тревогой:

— Господи, да что же я сделала дурного, что вы переменяли мнение обо мне?

Ему стало неловко за свою придирчивость, но надо же было оправдать себя.

— Вы как будто ведете какую-то двойную игру: то со мной, то с Дружининым.

— Но ведь вы же сами сказали, чтобы я его спросила...

Это было опять лукавство, и он не знал, где она искренна и где притворяется.

— Я видела, что вы... что он... я хотела помирить вас.

— О чем же вы с ним говорили? — спросил он подозрительно, уступая своей ревности право допрашивать ее.

Она не только не противилась этому, но передала ему весь разговор с Дружининым, почти от слова до слова, инстинктом чувствуя, что она от этого ничего не теряет.

— Вот оно что! — выслушав ее, почти с угрозой воскликнул Стрельников. — Хорошо же.

— Но я вам рассказывала совсем не для того, чтобы вы сердились. Наоборот, вы должны

теперь совсем успокоиться и по-прежнему быть дружны.

— Да, да, конечно, конечно, — ответил он с язвительным ударением. И вдруг, с приливом трогательной искренности, охватывавшей его в присутствии той, которая ему особенно нравилась, он открыто обратился к девушке:

— Послушайте, Ларочка, я не знаю, что заставляло его так говорить вам обо мне. Может быть, даже по-своему он прав, не в отношении к вам, нет, нет. Но странный он человек: говорит и даже исповедует одно, а вот коснулось его самого, или, за вас, может быть, испугался, и пошло другое. Когда напьется — стихийный человек и я тогда особенно его люблю, а трезвый больше всего боится огорчить свою мать, человека старой закваски, старой морали, которую он искренно презирает и отрицает. Ну, да Бог с ним! Во всяком случае я вижу, что нашей с ним дружбе конец.

— Я не хочу этого! — воскликнула она с настоящим испугом.

— Конец, — повторил он. — И не потому, что Дружинин сказал обо мне не по-товари-

щески злое, а потому... — он взглянул ей прямо в глаза и чистосердечно заявил, — потому, что между нами встали вы.

Как ни было это ясно ей самой, но такое признание ее взволновало. Она растерялась и не знала, что сказать, только внутри, рядом с тревогой, загоралось знойным огоньком тайное торжество.

— И вот, что я вам скажу, Ларочка, — чистосердечно продолжал Стрельников, глядя светло и нежно на девушку. — Вот, что я вам скажу и поклянусь, если хотите: никогда, никому я не сделал зла сознательно, из эгоизма, из низких побуждений, из каприза. Никогда ни одну женщину или девушку я не поцеловал не любя, и никогда никаких жертв от них не требовал... Но не в том дело. Я хочу только сказать, что даже в этом условном смысле я никогда... не то — вру. Нет, именно так, я никогда не заставлю вас раскаяться, что вы пришли ко мне. Клянусь вам, что бы там ни было.

Он взволнованно прижал ее руку и почувствовал, как она порывисто доверчиво прильнула к нему и прошептала:

— Хороший вы.

— Не в том дело, — пробормотал он, расстроженный не столько ее доверием, сколько своим великодушием. — Не в том дело, — повторил он, сам не зная, что говорит. — Вовсе не потому, что хороший, а просто... ну, просто, — он оглянулся, увидел близко товарищей и среди них Дружинина и заторопился сказать то самое главное, чего именно сейчас не мог не сказать. — Не знаю, как это случилось, Ларочка, но вы вдруг так стали дороги мне, что я в эту минуту хотел бы, чтобы все кругом, весь мир провалился, и мы остались бы вдвоем на этом клочке земли.

Эти слова вырвались у него до того неожиданно, что она обомлела и едва не уронила свои цветы. Как было связать все это с тем, что он говорил только что перед этим.

Ее рука затрепетала, но не высвободилась, а еще теснее сомкнулась с его рукою. Она почувствовала себя такой легкой-легкой, что захотелось подняться над землей, как птичка, которая только что поднялась с тропинки, и петить не то, что она знала, а что-то новое, свое.

Она опасалась, что все, и особенно Дружини-

нин, по ее лицу сейчас узнают что-то, и закрылась цветами. Атласные лепестки свежо и нежно защекотали ее щеки, глаза, шею. Она вспомнила последние слова Стрельникова, такие забавные слова, чтобы все провалилось, и не могла удержать смеха.

От Дружинина не укрылось ее настроение. «Чему она смеется, — спросил он себя и вдруг покраснел от укола подозрительной мысли. — Может быть, надо мной?»

Быстро перевел взгляд на Стрельникова, но тот, как ни в чем не бывало, разговаривал с Далласом.

Когда она подняла лицо от цветов, даже цветы показались ему смеющимися и так же искрящимися, как и ее глаза.

«Так могут смеяться только очень счастливые люди», — подумал он. И эта мысль была ему еще больнее и острее предыдущей. Нахмурился, осуждая себя за то, что позволил себе откровенничать с нею, так, ни с того ни с сего, что ему было совсем несвойственно.

Глаза ее встретились с его глазами; она сразу перестала смеяться и смотрела как-то виновато и настороженно. А вдруг он в чем-

то самом важном прав.

В душе ее что-то внезапно потускнело, и она с печалью заметила, что потускнело и все вокруг.

Еще так недавно море было гораздо темнее неба, а теперь небо и море стали одного дымчато-серого тона, и парус дубка, тихо уходивший в даль, сливался с этой сизой мутью.

Медленно и уже не так шумно компания стала подниматься к станции трамвая, последней станции на городском побережье. Под обрывом быстро темнело, и по временам над головой пролетали стаи птичек, спешивших на ночной покой. Но в небе малиновым отблеском вспыхивали облака, а когда художники поднялись наверх, на западе еще пылала заря, и оранжевое пламя ее было необыкновенно тепло и ярко между темно-лиловых туч, точно огненная река протекала в строгих молчаливо-мрачных берегах.

Удивительно деликатно и легко рисовались на этом червонном фоне ветки деревьев: среди них трепетали лиловые, фиолетовые, оранжевые тона, как будто каждая веточка была окаймлена радужным ореолом свято-

сти. Зато огни электрических фонарей, вспыхнувшие вдоль прямого, убегающего вдаль шоссе, сияли как-то неестественно мертво и бездушно.

## VII

С прогулки, по обыкновению, отправились в ресторан.

Здесь художников ждал сюрприз: написанной ими картины не оказалось на стене, и на месте ее висела еще более нелепая, чем раньше, мазня, изображающая не то двух хохлов, не то двух обезьян, дравших друг друга за чубы около каких-то невероятных хижин, с еще более невероятными деревьями и цветами.

Лакей, сначала несколько смущенный, заявил, что картину убрали.

— Как убрали! Кто же посмел?

— Хозяин-с.

Все сначала поняли так, что хозяин, прельщенный их шедевром, взял картину себе. Общий голос был таков, что не мешало бы попросить на это разрешение у них.

— Никак нет-с, — ухмыляясь, ответил лакей.

— То есть, как никак нет-с?

— А так, что хозяин не себе взял, а отдал ее перекрасить.

— Как перекрасить?



— Кому перекрасить?

— Что значить перекрасить?

— Зачем перекрасить?

— А так, что многие гости в этом кабинете по случаю вашей картины обижаться начали. Это, говорят, на смех сделано, безо всякой отчетливости, ничего, говорят, разобрать нельзя.

Художники так и покатались со смеху. Лакей, ухмыляясь, продолжал:

— На следующей неделе как живописец обещал ее нам заново перекрасить, а покуда заместо той эту повесил, — указал он на новую базарную мазню. — Вроде, как на подержание.

На это ответили новым взрывом хохота.

Служащий же, видя, что его пояснения доставляют им такое удовольствие, продолжал докладывать:

— Хозяин просит вас не обижаться, но только больше этих шуток не шутить. Потому, говорит, за этот товар деньги платят.

— Верно, верно, — все смеясь, одобряли они хозяйское решение.

Смеялись все. Даже солидный директор и

тот смеялся так, что его живот, в который он каждый четверг отправлял колоссальный ростбиф, колыхался и вздрагивал, как надувшийся парус от новых и новых порывов бури.

Смеялась и Ларочка, которую на этот раз художники уговорили пойти с ними, и опять Дружинину казалось, что, когда она отнимала от губ беленький платочек и встряхивала его, из платочка сыпались искры.

Стрельников, вообще очень смешливый, упал от смеха на диван и дрыгал ногами, а остальные, глядя на него, заражались этим смехом, в котором было так много молодости. Не за это ли все так любили его и снисходительно относились ко всем его дурачествам и увлечениям.

В то время, когда они начали уже успокаиваться, вошел швейцар, глазами нашел Стрельникова и сообщил, что его вызывают по телефону.

Все были еще в таком состоянии, когда и не в смешных вещах ищут предлога для смеха и шуток. Шутки, остроты и намеки встретили и это.

Но Стрельников смутился.

Раньше такие обстоятельства повторялись довольно часто: во-первых, вызывали из дома, желая проверить, действительно ли он проводит ночь среди товарищей. Сначала он это терпел, но как-то, рассерженный, раз навсегда запретил подобные выходы; затем вызывали и заинтересованные им особы. Но товарищей возмущало, что он иногда в разгаре вечера покидал компанию; сначала они штрафовали его на вино, пиво и прочее угощение, наконец, остротами и уколками заставили его покончить с подобными изменами товарищескому кругу.

Если иногда кто-нибудь и пробовал вызвать Стрельникова, он отказывался наотрез от всяких телефонных переговоров. На этот раз он прямо обрушился на швейцара:

— Ведь я же сказал вам, чтобы не беспокоить меня этим вздором.

— Я передавал, но говорят — необходимо.

Стрельников покраснел и с досадой нетерпеливо отрезал:

— Ну, довольно, скажите, что я не могу.

Художники подхватили:

— Да, да, передайте, что Стрельникова нет.

— Был Стрельников, да весь вышел.

Но швейцар наклонился к Стрельникову и что-то шепнул ему.

Стрельников всполошился; лицо его изменилось, и он поднялся с дивана.

Все обратили внимание на эту перемену, поняли, что случилось что-то неладное и что смех теперь неуместен.

— Хорошо, — ответил он не сразу, как будто соображая, и, ни на кого не глядя, вышел вслед за швейцаром из кабинета.

— Что такое?

— Что случилось? — спрашивали друг друга художники.

Но объяснений получить было не от кого. Тогда все, как по уговору, обратили вопросительный взгляд на Ларочку, которая одна могла слышать, что швейцар шепнул Стрельникову: она сидела с Стрельниковым рядом. Но та, очевидно, знала так же мало, как и они. Ее больше, чем всех, встревожил этот внезапный уход и особенно, когда Дружинин подошел к ней и спросил:

— Скажите, та особа знает о вашем знакомстве с ним?

Она с замирающим сердцем спросила:

— Какая особа?

Художники меж собою звали хозяйкой женщину, с которой и у которой жил Стрельников. И так же сейчас назвал ее Ларочке писатель.

— Знает, — ответила та. И почему-то покраснела. — Что же из этого? — через силу задала она ему вопрос.

Он провел рукою по лицу и, не глядя на нее, с пренебрежительно прищуренными глазами, успокоительно ответил:

— Ничего, тогда это пустяки.

Он имел в виду, что повторялась обычная вспышка ревности, которая иногда разнообразилась симуляцией самоубийства.

Кроль, только что явившийся в ресторан и увидевший у телефона Стрельникова, попробовал было подшутить, но его остановил гугенот:

— С...собственно говоря, это пока неудобно: мы не знаем, что такое.

Архитектор, опешив, оглядел всю компанию своими близорукими выпуклыми глазами, пожал плечами и покачал головой. Он

также остановил свой взгляд на Ларочке, и та еще более растерялась и раскаялась в душе, что согласилась пойти в ресторан.

Хотелось сейчас встать и уйти, но это было бы чересчур неловко, да и удерживало нетерпеливое и беспокойное желание узнать, что случилось.

По-видимому, все также разделяли это чувство и также нетерпеливо поглядывали на дверь, а когда неунывающий архитектор позвонил и громко потребовал пива, все недовольно покосились на него.

Швейцар сообщил Стрельникову совсем не то, что предполагал Дружинин: из дома телефонировали, что внезапно заболел ребенок — его дочь.

Стрельников никак не мог привыкнуть в течение двух лет к мысли, что он отец, и каждое напоминание об этом прежде всего его изумляло.

Пришлось сделать некоторое усилие над собой, чтобы проникнуть в суть этих слов, но зато после этого он не мог сдержать суеверного испуга.

Почему теперь именно, когда он дальше

всего был от своего ребенка, особенно от его матери, явилось это известие? Точно в зеленую смеющуюся долину упала сорвавшаяся с ледников глыба и если не ударила его, то все же дохнула прямо в душу угрожающим холодом.

Случалось, ребенок бывал болен и раньше, но Стрельников относился к этому если не спокойно, то во всяком случае не так тревожно, как сейчас. Иногда даже откуда-то издали показывала ядовитое жало отвратительная мысль, которую он со стыдом и ужасом гнал от себя. И сейчас, пока он шел к телефону, эта мысль на мгновение высунула свое отравленное острее, но в ту же минуту необыкновенно ясно представилось некрасивое сморщенное личико крошечного, незащитного, родного существа, и сердце с содроганием отвернулось от соблазна.

— Нет, нет, — пробормотал он, трясая головой.

И, чтобы успокоить себя, стал усиленно думать, что это сообщение лишь пустая тревога.

Однако, рука его потеряла свою твердость, когда он взялся за телефонную трубку, и голос

его с невольным срывом выговорил:

— Я у телефона.

В ответ слух поймал сначала лишь звук, междометие, выражавшее не то неожиданное удовлетворение, не то нетерпеливый отклик.

Он не узнал голоса. Ему даже показалось сначала, что это не женский голос, но он тотчас же убедился, что говорила она, мать его ребенка.

К удивлению, тон этого голоса не заключал в себе ничего путающего: она даже извинилась, что побеспокоила его, но у девочки так сильно повысилась температура, что бедняжка бредит.

— А доктор был? — спросил он.

— Нет, ведь доктор...

Но он прервал, стараясь досадой побороть свое беспокойство.

— Я полагаю, прежде, чем вызывать меня, следовало бы позвать доктора.

Она поспешила договорить то, что начала:

— Ведь я недавно вернулась с практики. Да и доктор, все равно, сейчас не может ничего оказать определенного.

— Я еще менее, — отозвался он, призывая



на помощь всю свою твердость и надеясь таким образом преодолеть малодушную, как он полагал, слабость.

— Какой ты жестокий, — услышался укоряющий ответ и вслед за тем — слова, печаль и дрожь которых дошли даже по телефону:

— Если бы ты видел, как мечется девочка и как все время плачет, и только говорит: папа, папа...

— У него как-то сразу пересохло в горле.

Дальше он бороться не мог и как будто недовольно ответил:

— Хорошо, я сейчас приеду, — и тут же прибавил, желая лишить эти слова настоящей их ценности. — Хотя уверен, что по обыкновению все преувеличенно. Я привезу доктора.

И не дожидаясь дальнейших слов, он повесил трубку.

После этого ему не хотелось даже на минуту возвращаться в товарищескую компанию. Пожалуй, он ушел бы, не простившись на этот раз, и, конечно, товарищи бы поняли и извинили такой уход, но там оставалась девушка, с которой его уже связали неожидан-

но вырвавшиеся признания на берегу моря.

Не за них ли и мстит ему судьба, никогда ничего не уступающая даром, — мелькнула едкая мысль.

Он постарался, насколько возможно, овладеть собою, даже взглянул на себя в зеркало и поправил волосы.

Когда он вошел в кабинет, все лица обратились к нему с молчаливым вниманием и сочувствием.

Он подошел прямо к девушке.

— Извините, Ларочка, я должен проститься с вами: заболел ребенок, — сказал он с деланным спокойствием, хотя ему, помимо прочего, было неприятно, после всего, что он говорил ей, напоминать, что он обязан соблюдать свой долг и перед ребенком и перед матерью ребенка, этой немолодой, некрасивой женщиной, с которой был связан и связи с которой он стыдился.

Как ни печально было это известие, она ожидала чего-то худшего, а, главное, чего-то такого, в чем, по намеку Дружинина, могла быть замешана она. От сердца отлегло.

— Ах, как жаль, — вырвалось у ней неопре-

деленное восклицание, и она нерешительно поднялась с места.

Он не знал, жаль ли ей было, что случилось это несчастье, или жаль, что он уходит. Когда же протянул ей руку, она неуверенно, может быть, машинально, подала свою.

Чего же было ожидать другого? Ясно, что он не пойдет ее провожать, и все же его уколело, что она не вызвалась идти с ним.

И, верно, ей передалось его настроение. Растерянным взглядом обвела она присутствующих, но прежде, чем успела что-то сказать, Стрельников предупредил ее:

— Вам нечего беспокоиться, вас проводят. А когда будем продолжать портрет, я вас уведомлю.

— Да, да, конечно, — поспешили отозваться товарищи. — Мы вас проводим.

Дружинин добавил:

— Да, может быть, все это пустая тревога, и он сейчас же вернется.

Стрельников знал, что этого не будет, но почему-то поспешил подтвердить его слова:

— Очень может быть. — И, подталкиваемый ревнивым чувством, сказал, уже делая

движение уйти. — А если нет, вам с Дружини-  
ным как раз по пути.

И ушел.

## VIII

Было всего около девяти часов вечера, когда Стрельников очутился на улице, но ему почему-то показалось, что очень поздно, что прогулка у моря и малиново-золотая заря были давно; он успел устать.

Его крайне удивило обычное для вечернего часа движение на улицах, шум, суета, нервные звонки трамваев и огни, огни неподвижные и движущиеся, среди которых мещански пестро и ярко зазывали публику многочисленные лампочки иллюзионов.

Куда-то промчались пожарные.

Стрельников всегда был жаден к уличным впечатлениям, но на этот раз они мало занимали его.

Мысли его разбегались в две стороны, как бусы с разорвавшегося шнурка: одни — домой, другие — к той девушке. Он то представлял себе больного ребенка и около него мать, то Ларочку, которая, быть может, сейчас забыла о нем и беседует и смеется с Дружининым.

О, Дружинин может быть обаятелен, когда

захочет. Главное, в нем эти неожиданности настроений, эти переломы вспышки, которые должны пленять женщин. И без того Ларочка, прочитавшая кое-что из его произведений, очень им заинтересовалась. Женщины, особенно девушки, всегда склонны смешивать актеров и писателей с героями их творений. Впрочем, уверял он себя, сейчас все это ничтожно в сравнении с тем, что ждет его дома.

Он заехал за знакомым доктором. Доктор этот был кутила, но считался одним из лучших в городе, хотя за обилием практики и за кутежами ему совсем некогда было следить за наукой. И Стрельникову казалось, что всей своей славой этот доктор обязан только тому, что был самоуверен и грубо обращался с своими пациентами. Только с больными детьми он был внимателен и нежен и всеми силами избегал прописывать им лекарства.

— Sage femme, — прочел на вывесочке в несчетный раз Стрельников с неприятным чувством; а под ней была медная дощечка, на которой было отчетливо выгравировано: Ольга Ивановна Зеленко.

Она сама встретила их в передней. Этого

доктора она не любила, как не любила никого из товарищей Стрельникова, считая их безнравственными и враждебно к ней настроенными; но теперь она встретила доктора с тем заискивающим уважением и слепым доверием, с которым всегда относятся к докторам, когда в доме больной.

И тут Стрельникову показалось, что он давно ее не видел, и что она еще старше и некрасивее, чем представлялась, когда он о ней вспоминал. Впрочем, при посторонних она всегда казалась ему хуже.

Недурна у нее была только фигура, довольно высокая, стройная, всегда в темном, опрятно и не без вкуса одетая. И казалось как-то странно, что при этой привлекательной фигуре, у нее было такое костлявое лицо с выдающимися скулами и большим, совсем не женским лбом.

Она, по-видимому, старалась закрыть этот лоб расчесанными прямым пробором волосами, но широкие лобные кости обозначались и под ними. Также не по-женски зорко смотрели ее черные подвижные глаза, в которых чувствовалась страстная и не совсем буднич-

ная натура. Эти же черты замечались и в извивах ее тонкого рта, с начинавшими уже опускаться углами.

— Я не знаю, что с девочкой, и потому перенесла ее в вашу комнату, — как бы извиняясь, обратилась она с первыми словами к Стрельникову. — Боюсь за других детей. Пожалуйте, доктор, — переменив тон, пригласила она доктора совсем не так, как ей случилось при совместной практике.

Наклонив всегда растрепанную голову и нервно потирая руки, доктор вошел в знакомую ему мастерскую Стрельникова, с большим окном на север, которое, как Стрельников часто думал, оказалось почти роковым для него. Из-за этого-то окна он и снял у нее квартиру.

Очевидно, доктора ожидали: мольберт, стоявший посреди комнаты, который всегда нужно было обходить, чтобы попасть в соседнюю, служившую спальней, был поставлен в угол: также была отставлена и скамейка, на которой всегда валялась отяжелевшая от задохших на ней в продолжение нескольких лет красок палитра, кисти и ящик пастелей.



Цветные пятна холстов и бумаги беспорядочно висели по стенам, большую часть без рам. А пустые рамы разного формата стояли в углу.

На большом диване, где Стрельников почему-то любил спать, когда возвращался нетрезвым, лежали его подушка, одеяло и простыня, вынесенные из спальни. Собственно, в ту комнату, куда перенесли больную, можно было пройти не через мастерскую, а через спальню самой хозяйки.

В то время, как Стрельников и Ольга Ивановна с большой осторожностью входили в комнату, где лежала больная, доктор вошел, шаркая ногами без всякого стеснения.

Небольшая комната была освещена лампой под низко спущенным абажуром: резко очерчивались тенью — низ одной стены и половина двух прилегающих; у освещенного стола стоял красного дерева секретер в стиле ампира, украшенный бронзой, с откинутой доской стола; на стенах, в старинных рамах, частью освещенных, частью перерезанных тенью, несколько старинных гравюр, женский портрет, старинный, в овальной раме, миниатюра.

тюрки на фарфоре и слоновой кости, и на досках красного дерева десятка два складней, древних медных иконок и крестов с синей эмалью.

У неосвященной стены стояла кровать, стул у изголовья; там темнела на белой подушке маленькая головка, и доктор подошел прямо к кровати и наклонился, чтобы узнать прежде всего, спит ли ребенок.

Ольга Ивановна ровным, даже как будто безучастным голосом сказала:

— Да, все время спит. Вот это-то и подозрительно. — И она поправила на голове ребенка пузырь со льдом.

— Температура?

— Сорок и три.

Доктор как-то неуклюже сел на стул и громко и отрывисто приказал, не поворачивая головы:

— Дайте свет.

Стрельников шагнул, чтобы подать лампу, но Ольга Ивановна движением руки остановила его. Без суетливости, но быстро она зажгла свечу и подала доктору.

Тот близко поднес свет к глазам ребенка:

заморгали маленькие веки и головка зашевелилась; раздался слабый стон.

У Стрельникова всколыхнулось в груди и что-то тревожно потянулось по рукам и ногам.

С новым чувством особого почтения, доверия и томительного внимания следил он за движениями Ольги Ивановны, которая бережно приподнимала головку девочки ближе к свету.

Ребенок, не сгибая шеи, застонал еще сильнее, лоя быстро мигающими глазками колебавшееся от движений пламя свечи.

Доктор с сосредоточенной пытливостью вглядывался в зрачки больной. И наконец, своими руками с набухшими жилами, почти закрыл маленькое личико двумя пальцами, большим и указательным, раскрывая веки и к самым глазам приближая свечу. Зрачки были не равные. Ребенка вырвало, и мать поспешила полотенцем отереть ему рот, приговаривая:

— Вот так. Все рвоты и рвоты.

Стрельников с замирающим дыханием смотрел на это распаленное жаром личико,

которое безобразно расширенный глаз делал почти невероятным и пугающим. И вдруг то, что остановилось в груди его, поползло выше, к ушам и под кожу головы.

Доктор, взглянув на впалый животик и сведенные колени малютки, бережно положив ее и передав Стрельникову свечу, стал тихо надавливать руками одеревеневшую шею у больной.

Ребенок опять пронзительно закричал.

— Так, так, — хмурясь, как бы про себя бормотал доктор.

Мать хорошо понимала, что предполагает доктор, и дрогнувшим голосом сказала:

— Желудок я очистила и лед положила тотчас же, как температура поднялась до тридцати девяти. Сделала сейчас и теплую ванночку.

— Ну, что ж, ладно, — ответил доктор, поднимаясь.

В эту минуту он показался Стрельникову большим и страшно важным.

— Лед кладите непрерывно. Я пропишу каломель. И ванны теплые почаще.

По тому, как доктор встал, как он говорил

и избегал смотреть в глаза, Стрельников понял, что болезнь очень серьезная, а когда доктор, подойдя к столу и оторвав листок для рецепта, как бы между прочим спросил, когда заболел ребенок, и мать ему ответила: утром, когда я была на практике, Стрельников почувствовал мучительную виноватость за то, что и его не было дома, когда все это началось.

Большую часть дня пробыл он с Ларой; мысль о ней опять вызвала это язвительное отравляющее жало, но теперь все показалось ему так чудовищно, что захотелось крикнуть: «Нет!» — и отбиваться от этого ужаса руками. Он смотрел, как доктор, написав рецепт, все еще согнувшись, сидел на месте, с неподходящим вниманием рассматривая и потрагивая руками старую бронзовую чернильницу, украшенную чеканным рисунком. Он знал, что доктор этими вещами не интересуется, что это только отвлечение, заминка, что все это подтверждает опасное, быть может, роковое положение дочери.

«Да, дочери, дочери, дочери», — твердил он мысленно сам себе, как бы выбивая этим сознанием другую мысль, от которой нельзя бы-

ло избавиться без боли, точно это был зло- вредный нарост, питавшийся его кровью.

Но пока был доктор, казалось, что могла быть какая-то борьба, а сейчас он может уйти и что же тогда?

В первый раз по-настоящему допустил он, что девочка может умереть. Нервно вздернув плечами, подошел к кровати.

Мать, наклонившись, чутким взглядом следила за судорожными движениями маленькой ручки. Но его поразили не столько эти судорожные подергивания, сколько трепетание запекшихся губок, изогнутых страдальческой гримасой, которая делала это личико не только старческим, но почти древним, как само страдание.

Ему захотелось всем существом своим крикнуть: нет, нет, не хочу, и просить у кого-то прощения. Он с испугом обернулся к доктору, когда тот встал:

— Как, ты уже уходишь! — вырвалось у него.

Доктор с удивлением поднял глаза, но смотрел как-то вбок.

— Может быть, выпьем чаю? — предложил

Стрельников, стараясь успокоить себя мелочной обиденностью и думая, что если доктор останется пить чай, все будет не так страшно.

Но доктор, который попусту иногда проводил у него время, торопливо взглянул на часы и отказался.

## IX

Девочка продолжала стонать так томительно и жалобно, что Стрельникову хотелось закрыть уши или стремительно убежать, куда глаза глядят. Казалось, эти стоны кто-то выматывает из нее тонкими прерывающимися и путающимися нитями, и эти нити, вонзаясь, накручиваются на его сердце и цепко связывают его с ребенком. Нет, уж теперь ему не уйти никуда.

Вероятно, доктор заметил гримасу боли на его лице.

— Я сейчас вернусь, — сказал он, — постараемся облегчить ее страдания.

И доктор ушел как-то особенно торопливо, и как будто унес с собой что-то, после чего образовалась не только томящая опустелость вокруг, но и в душе. И стало труднее дышать и тяжелее смотреть. Самые обыкновенные знакомые предметы стали представляться как бы затаившими в себе гнетущее и скорбное ожидание: оно наполнило стены, смотрело из узоров обоев, светилось в желтоватом огне лампы.



А стоны все тянулись и тянулись из ребенка, хотя глаза были закрыты, и он казался спящим, тянулись и накручивались на сердце, превращая его в клубок, которому в груди не хватало места.

Почти со страхом обернулся он к матери ребенка, которая, наклонившись к изголовью, полотенцем вытирала сливавшуюся из страдальческих губ девочки рвоту.

Прекратились стоны, но молчание, охватившее эту покрытую тенью кровать с согнувшейся над ней фигурой, каждый изгиб которой изобличал тоску и тревогу, было еще томительнее и тяжелее.

Он почувствовал себя беспомощным, растерянным и виноватым, и стало страшно жаль эту женщину, которая, может быть, первый раз в жизни показалась ему по-настоящему близкой.

Он хотел подойти к ней и положить ей руку на плечо и сказать что-то успокоительное и ласковое и, может быть, принять от нее, как отпущение, полную рыданий печаль. Ему уж представлялось, как он прижмет к своей груди ее голову и, может быть, заплачет сам. Он

чувствовал, что это единственно принесло бы ему облегчение и оправдание.

Но что-то мешало поступить так, что-то притаившееся, но непобежденное. И он, стиснув зубы, стал ходить из угла в угол.

Эти шаги, от которых, как ей казалось, должна была дрожать кровать, заставили ее обернуться и взглянуть на него.

Он продолжал ходить, не заметив этого взгляда.

Тогда она выпрямилась и сухо прошептала:

— Нельзя ли хоть теперь пожалеть ребенка и не беспокоить его.

Он сначала не понял ее, так был далек от того, что заключалось в ее словах, но ее враждебный шепот и раздраженный, почти злобный взгляд, оскорбили его. Он остановился в противоположном, освещенном углу комнаты и, также враждебно встретив ее взгляд, ответил таким же шепотом:

— Нельзя ли хоть теперь не изливать свой яд и...

С кровати опять потянулся стон, и речь его оборвалась. Она, как ему показалось, с пре-

увеличенной мукой и нежностью наклонилась к ребенку, и в то же время еще где-то в ее лице, может быть, в углах глаз, таилась злоба.

Поза ее была та же, что минуту назад, но в ней было что-то преднамеренное, напоминающее птицу; которая закрывает своего птенца от хищника.

Чувство мутное и горькое закипело в нем и поднялось до самого языка.

Опять замолк ребенок и опять он увидел враждебное лицо.

— Что ж, договаривай, — вызывающе прошептала она, не отходя от кровати.

— Изволь. Ты, я вижу, хочешь показать мне, что я здесь лишний.

Она, стараясь язвительной улыбкой выразить, что видит его насквозь, качнула головой.

— Лишний, — с гримасой повторила она. — Не ты ли сам сказал это мне по телефону.

— Ты отлично знаешь, что я не предполагал такого...

Если бы это признание способно было примирить ее, все бы обернулось иначе, но у нее

сейчас слишком надорвана была душа этой внезапной бедой.

— О, да, только такое... — с ударением произнесла она, указывая на кровать, — только такое и могло заставить тебя оторваться оттуда.

— У тебя поворачивается язык говорить это в такую минуту.

— Ах, не все ли равно теперь! — с отчаянием вырвалось у ней. — Именно в такую минуту я и не намерена лгать и лицемерить, как это делаешь ты.

— Я?

— Да, ты. Я отлично вижу, что ты не можешь мне простить, что я оторвала тебя от этой рыжей девчонки.

Эти слова сорвались у нее с языка с желанием, чтобы он опроверг, разубедил. Она инстинктивно чувствовала, что сейчас ее роль более страдательная, и что горе ее — ее союзник. И все-таки его взорвала ее несправедливость.

— Ты сама отлично знаешь, что лжешь, — ответил он с сердцем, расширившемся от негодования и рвущим опутывавшие его ни-

ти.

— Правда!

— Я многое прощал тебе, но никогда не прощу тебе этой клеветы.

— Ты прощал мне! Ты!

Она сделала несколько шагов к нему и рассмеялась зло и, как показалось ему, театрально.

— Так это, может быть, не ты, а я распутничаю. Не ты, а я обольщаю девчонок.

Она хлестала его этими словами, как пощечинами, и та доля житейской правды, которая заключалась в этих словах, всего больше его уязвила.

— Продолжай, продолжай, это как раз вовремя. Это теперь как нельзя более ясно показывает, что, в сущности, для тебя представляет мой ребенок.

И в этом ответе также была крупица житейской правды, но он заключил ее в грязный ком, и этот грязный ком он злобно швырнул ей в лицо.

Она даже ахнула, пораженная его жестокостью.

— Какая гнусность! Какая гнусность! Ты

смеешь говорить... смеешь... и теперь, именно теперь! Впрочем, это лучше всего доказывает... ведь от меня ты этого не скроешь... Ах, ах... — и она закачала головой, страдая, что нет настоящих слов, чтобы выразить всю ее боль, все презрение и отчаяние. — Я ведь чувствую, что ты будешь рад, если... если...

Ее большие, красивые глаза наполнились слезами, но это не были очистительные слезы. Она не договорила того, что так ужасало ее, она только повернула голову к ребенку и воскликнула:

— Господи!

И все же опять в нем шевельнулось что-то покаянное, но она, как будто почувствовав это, снова обрушилась целой лавой жестокого обличения:

— Я ведь знаю, что ты втайне ждешь этого, потому что это развяжет тебе руки. Ну, разве я не угадала... разве я не угадала? — с шипением говорила она сквозь стиснутые зубы, приближаясь к нему, вытягивая голову и впиваясь в него глазами, которые влага слез делала неестественно большими и блестящими.

Он побледнел и почувствовал, как задро-

жали его ноги от охватившей слабости. Казалось, она рванула какую-то дверцу и выпустила на свободу то чудовище, которое лишь украдкой высовывало свое ядовитое жало.

— Если так, так-так! — сказал он сам себе с ожесточением, и, уже не щадя не только ее, но и себя, дал волю словам своим:

— Ты этого ждешь, ты добиваешься этого. Ты всеми силами стараешься убить мою любовь к ребенку, сделать так, чтобы я почувствовал себя чужим ему.

— О, мне не надо стараться. Это так и есть.

Он продолжал, не слушая ее, возвышая голос, забывая о том, что это маленькое несчастное существо, предлог их ссоры, корчится в судорогах от страшных мучений.

— Ты злая, отвратительная самка. Ты никогда никого не любила, потому так и думаешь обо мне. Да, да, ты убивала у меня любовь к ребенку тем, что делала из него орудие своей власти надо мною. Это из-за тебя его наказывает судьба.

— Молчи! — крикнула она с искаженным лицом, готовая на него броситься в исступлении. — Не из-за меня, а из-за тебя. Да, да, так и

знай, если этот ужас случится, он падет на тебя... на тебя.

Ребенок застонал длительно и не по-человечески. Она сразу точно окаменели оба с бледными, испуганными лицами, с полуоткрытыми ртами. Потом сразу опомнились и оба бросились к постели, как будто там должна была произойти их последняя борьба.

Что-то белое, как пена, опять облегло ротик ребенка, и мать, схватившись за голову, с мольбой и отчаянием простонала:

— Ах, да уйди же, уйди, ради Бога!

Схватила полотенце и трясущимися руками стала вытирать судорожно искривленные губы девочки.

Пока они ссорились, лед почти растаял в пузыре. Она поскорее бросилась с этим пузырем к ведру со льдом, которое стояло в углу. Куски льду попадались все большие, она никак не могла забить их в отверстие пузыря.

Стрельников подошел и сечкой на своей сильной руке стал разбивать лед. Она как будто забыла, что только что умоляла его уйти и машинально подставляла горлышко пузыря, куда он осторожно опускал кусочки льда.



— Довольно. А то будет давить на головку.

Она произнесла эти слова так кротко и как будто спокойно, что у него горестная спазма схватила горло, а когда она стала растерянно искать пробку от пузыря, он отыскал ее и заботливо навертел на пузырь.

Когда она поднялась с пола и направилась к кровати, он вышел в мастерскую и стал ходить из угла в угол взад и вперед, опустошенный, почти не понимая, что произошло и что происходит. Была настоятельная потребность что-то установить и выяснить, но все в нем смешалось: ее обвинения, страдальческие стоны, его собственный злые слова и мысли, и среди них одна, дразнящая и жестокая, которой было страшно и стыдно, но к которой он возвращался, как к единственному выходу.

Чтобы яснее дать себе во всем отчет, он встал у окна и прижал пальцы к вискам. Но прежде, чем успел сосредоточиться, в глаза бросились две тени на ярко освещенной улице справа. Он восторженно и припал к окну, стараясь разглядеть. Но разглядеть было трудно: окно высоко. Он быстро подвинулся к са-

тому последнему звену окна налево. Но и под таким углом нельзя было ясно рассмотреть.

И вот они исчезли.

У него по-особенному беспокойно билось сердце. Они это или не они? Нет, не они, — хотелось сказать ему. — Не они.

Но тут он одумался. В сущности говоря, что могло его беспокоить? Попытался обратить свои мысли на то страшное, что происходит рядом, даже отошел от окна и подошел к двери, из-за которой временами доносился слабый стон, похожий на мяуканье котенка, но это не отвлекало, и мысли шли в прежнем направлении.

То, что представлялось неважным раньше, успело вырасти за эти часы. Но и эти мысли и сознание значительности их не могли утвердить на себе его внимания, чувствовалась физическая и моральная усталость и как будто даже несколько лихорадило.

Его потянуло к дивану, хотелось закрыть глаза и отдаться полному покою, но он боялся уснуть: уснуть в такую минуту, это было бы почти жестокостью.

Лишь только тело его растянулось для от-

дыха, стало ясно, что отдыха быть не может: по-прежнему доносился стон, похожий на мяуканье, но не это мешало: откуда-то как будто сыпался тупой, однозвучный, утомительный шум, который, точно песок, проникал сквозь слух и нагружал все тело, отчего оно как будто раздавалось и рыхлело, и был неприятен, томителен приспущенный для чего-то огонь лампы.

Он закрыл глаза, только чтобы избавиться от этого огня, но даже и сквозь сомкнутые веки ощущал облегающий их свет.

Вдруг, большая тяжелая тень заслонила его; теперь можно было бы заснуть, если бы эта тень не заключала в себе разрешение какого-то страшного вопроса.

Пришлось сделать усилие над собой, чтобы открыть глаза.

Доктор как-то особенно заботливо сказал:  
— Заснул, приятель.

Стало совестно. Он вскочил и преувеличенно бодро ответил:

— Ничего подобного.

— Лежи, ты мне не нужен. Справимся и без тебя.

Усиленно стряхивая с себя осадок сна, Стрельников пошел за доктором, и машинально и тупо следил, как тот вынул блестящий трехгранный металлический инструмент, перевернул ребенка на животик при нестерпимом крике его.

Мать с страшной бледностью в лице, стиснув зубы, точно боль была ее, помогала доктору. Доктор нащупал на детском тельце необходимую точку и, твердой рукой вонзив блестящее орудие, медленно вынул стержень: из пустоты стальной оболочки стал выползать гной.

Это мучительство делалось не для того, чтобы спасти ребенка, на это надежд почти не было, а лишь для того, чтобы облегчить его дальнейшее невыразимое страдание.

# Х

Стрельникову лишь померещилось, что он видел Ларочку с Дружининым; они шли совсем другой дорогой. И во время пути ни разу не было упомянуто имя Стрельникова.

Дружинин с внимательным и серьезным участием расспрашивал девушку о ее семье, о прошлом и о том, как она живет теперь и как ей представляется будущее.

Было что-то заботливое, деликатное и вместе с тем серьезно значительное в этих вопросах. Она не могла не сознаться себе, что Стрельников никогда так пристально не интересовался ее существованием.

Она как-то притихла, отвечая ему покорно и искренно. Он уже не казался ей ни злым, ни холодным. Наоборот, временами она чувствовала, что от него как будто проникает ей в душу какой-то новый свет. С Стрельниковым ей, как с сверстником, хотелось дурачиться, смеяться; здесь — она была несколько подавлена силой которую инстинктивно чувствовала. Но отвечая порой как ученица учителю, она в то же время начинала сознавать в себе

что-то настоящее, приближение к ответственности за свою жизнь, за свою душу перед кем-то неназываемым, но властным.

А между тем беседа их была проста, и в тоне ее спутника не было ничего явно поучительного или вразумляющего.

«Все это потому так выходит, что он писатель», — думала она и не посмела бы не только солгать перед ним, но и притвориться, или утаить что-нибудь. И конечно, только потому он ею так и интересовался и так ее расспрашивал, что он был писатель. Напрасно она там, у моря, так самонадеянно объяснила себе его недоразумение со Стрельниковым.

Не наоборот ли, не ее ли тянет к нему?

Она почти испугалась этой мысли и сбоку взглянула на него.

Профиль его отчетливо и строго вырисовался на свету большого зеркального окна, за которым забавно и пестро красовались модные мужские шляпы. Среди них ей бросились в глаза и котелки, подобные тому, который был на нем. Это показалось ей почему-то ужасной нелепостью, точно никто не имел права носить то, что носил этот непохожий

на других человек.

— А как же тот? — в смятении спросила она себя о Стрельникове. Вспомнилось то, что он сказал ей там над морем, и дуновение радости и ласки повторилось в ее душе.

Стало безотчетно стыдно и показалось необыкновенным, что именно в этот вечер Стрельников должен был ее оставить.

Дружинин говорил:

— Все-таки хорошо, что отец вас простил. Я, знаете, верю, что чувства близких нам людей, это... Ну, как бы вам сказать... ну, как ветер для корабля: когда эти чувства добрые, они облегчают путь, и наоборот.

Она заметила, что он очень часто говорил сравнениями, и это ей нравилось: так легче было понимать то, о чем она сама никогда раньше не задумывалась.

— Да я и сама рада этому, — сказала она. — Без этого, пожалуй, тетя не согласилась бы меня держать у себя.

— Неужели?

— Да, ведь у нее свои дети, и ее дочь — почти моя ровесница. Только... — девушка улыбнулась, — только, все равно, мой пример

не мог бы повлиять на нее. Она такая: что ей скажут, то она и делает, куда поведут, туда и пойдет. Может быть, женщина и должна быть такой.

— Должна! Кто же это установил такие законы?

— Так говорят.

— Так говорят те, кому это нужно и удобно. Не только говорят, но и стараются сделать женщину такую, чтобы относиться к ней, как к вещи. Не понравилась — променял, оставил. Перед такой и ответственности меньше.

Ей послышалась в его тоне нотка раздражения, и опять вспомнился Стрельников, но уже несколько иначе.

— Хорошо, — сказала она. — А что же делать, если большинство женщин такие. Вы, может быть, будете смеяться и даже осудите меня, но я не люблю женщин — неожиданно смело заявила она. — У меня никогда не было подруг и я всегда предпочитала иметь товарищами мальчишек.

Она покраснела, точно в этом признании было что-то предосудительное.

Так вот у нее откуда это необычайное со-



четание самой тонкой женственности с мальчишеским задором. Он улыбнулся и сказал:

— Я вообще заметил, что женщины не любят друг друга.

— Это оттого, что почти все они любят наряжаться и жить на чужой счет, — сказала она с неожиданной серьезностью.

Дружинин не мог не рассмеяться.

— Ну уж это вы слишком.

Ему вспомнился недавний разговор о женщинах-птицах, и лицо его опять стало серьезным.

— Ведь вы и себя осуждаете таким образом.

— Вовсе нет. Правда, я бы наряжалась, если бы могла, но на чужой счет я жить не люблю и не буду, — тряхнув головой, упрямо заявила она. — Я и тете плачу тем, что занимаюсь с моим маленьким племянником.

Он продолжал свое, испытующе глядя в ее глаза.

— Хорошо. Вот вы сказали, что у вас были товарищи, а не подруги, конечно, это можно объяснить по-разному, но дело не в этом. Чем же, главное, по-вашему отличается женская

душа от мужской?

Она минуту подумала и ответила просто:

— Тем, мне кажется, что женщина любить покоряться.

— Что же это, по-вашему, не хорошо?

Это уже походило на экзамен, и она насто-  
рожилась.

— Не не хорошо, а не нужно. Пусть живет по-своему.

— Вот вы какая. А мне так нравится в жен-  
щине именно то, что она, как вы сказали, лю-  
бит покоряться. Это, однако, совсем не то, что  
делать то, что скажут. Понимаете? Это прида-  
ет ей свою поэзию, как мужчине придает поэ-  
зию то, что он стремится побеждать. Каждому  
свое, и мне кажется, что первое красивее. В  
этом есть залог великого самоотречения,  
жертвы, подвига.

Она ухватила только сущность его мысли  
и, не справившись с собою, забыв о том, что  
он, может быть, лишь экзаменует ее, с ис-  
кренним отвращением воскликнула:

— Ненавижу!..

— Что ненавидите?

— Вот, что вы говорите. Может быть, и во

мне оно есть, как в женщине, оттого я еще более ненавижу. Что это такое! — возмущалась она, не умея ответить по существу. — Самоотречение, жертва!.. Ничего здесь красивого нет. Одна выдумка.

— По-вашему, значит, и христианство выдумка?

— О, — ответила она внезапно вспыхнувшим голосом. — Я очень люблю Христа и часто плачу, когда читаю Евангелие, именно потому, что такого не может быть, а если бывает что-нибудь похожее, из этого ничего, кроме горя, не выходит. Я бы, может быть, не ушла из родительского дома, если бы там не было вот этого. Оно у меня вот где встало, — указала она на горло. — Помню, когда мне было лет десять, отец заставил меня говеть и исповедоваться. Я спрашиваю: зачем? Он говорит, чтобы покаяться в грехах. Зачем каяться? Чтобы потом не грешить. А если я не могу не грешить? Надо стараться не грешить, бороться с собой. А если я хочу грешить?..

— Постойте, постойте! — перебил ее Дружинин. — Что же для вас в десять лет значило грешить?

— А не все ли равно: есть в постные дни скоромное, есть, веселиться.

— Не все равно. Это еще не великий грех. Грех — то, что зло для других, что безобразно, унижительно для человека.

Она в искреннем и каком-то детском порыве проговорила, глубоко вздохнув:

— Я не знаю. Я, может быть, нехорошая. Но до того, как сказать отцу то, что я сказала, я много молилась, чтобы Бог сделал меня хорошей. Он оставил меня такой, какая я была. Что же мне делать, если так? Я жадная ко всему, я люблю жизнь, хочу, чтобы меня любили, чтобы мне удивлялись. Пусть те, которые этого не хотят, не мешают мне. Я им и вовсе мешать не стану. А кто будет мне мешать, тем я сделаю зло.

Она вдруг остановилась, точно спохватившись, что сказала лишнее, и ушла в себя. Вся она притаилась, и даже как будто ее гибкая длинная шея сократилась, и голова приблизилась к плечам.

Все это так не вязалось с ее легкой, нежной, ясной красотой, что Дружинин недоверчиво покачал головой.

— А мне кажется, что все это вы на себя клеветеете.

Она по-детски обиделась.

— Вовсе нет. Это вы, верно, заключили по тому, что я в прошлый раз вспомнила о доме и заплакала. Это еще ничего не значит.

— Конечно, конечно, — поспешил он согласиться. — Но я вовсе не потому сделал такое заключение, а просто потому, что вы мне кажетесь доброй.

— Нет, нет, я не добрая. Я вовсе не добрая, — ответила она с нервной поспешностью.

Раздался резкий звук рожка кареты скорой помощи и, она, вздрогнув, близко к нему прижалась. Стало как-то вдруг не по себе, и цветы, которыми она так гордилась, показались ей лишними.

Карета подъехала к угловому дому, где помещалась аптека. За зеркальными окнами ярко переливались на свету в больших стеклянных шарах красная и зеленая жидкости, и толпа жадно теснилась у этих окон и у стеклянной двери, стараясь заглянуть внутрь.

Доктор, в кепи с золотым околышем, вы-

шел из кареты и направился в аптеку. Ему с трудом очищали дорогу, старались протесниться туда вместе с ним.

В толпе только и слышался разговор:

— Отравилась, женщина отравилась!

— Молоденькая?

— Девушка.

— На улице?

— Так вот шла... трах!.. Упала и пена изо рта.

— Ничего подобного: она вовсе на бульваре на скамейке сидела.

— Насмерть?

— При последнем издыхании.

Дружинин взял Ларочку под руку и почувствовал, как вся она дрожит.

— Чего вы так испугались?

— Не знаю.

— Такая обыкновенная в городе вещь.

— Сама не знаю, — призналась она, изумленная своей чрезмерной тревогой. — Все это, — она кивнула головой в сторону кареты и толпы, — ну, вот, точно я видела это в каком-то страшном сне.

Он наклонил голову и тихо промолвил:

— Это само по себе страшнее всякого сна. — Затем, вдруг повысив голос, он обратился к ней: — Неужели и после этого вы скажете, что способны сделать зло тому, кто вам помешает. Разве мы знаем, к каким последствиям приведет та капля зла, которую мы принесем людям. А, может быть, она, эта капля, и обратилась в яд, отравивший эту несчастную.

— Ах, ну, что вы меня пугаете! — воскликнула она с нескрываемым эгоизмом. — Если так думать, то и жить нельзя совсем.

Еще мысль его продолжала кружиться около этого события, а уж ощущение близости и теплоты ее тела волновали кровь, и он чувствовал, что, что бы она ни говорила, все равно вот это ощущение неотразимо влекущего тела и побеждающего тепла теперь самое важное для него, что, и расставшись с нею, он не перестанет желать ее близости. Те женщины, с которыми ему приходилось изредка сближаться, не возбуждали в нем ничего подобного.

Как раз в эту минуту они поравнялись с большим особняком, стоявшим на углу ули-

цы, упиравшейся в высокую церковь, за которой темнел большой парк. Ставни дома были изнутри закрыты, и тяжелая дубовая дверь походила на дверь храма.

Электрический фонарь с угла улицы освещал этот дом, такой тихий и старомодный, как-то странно близкий этой безмолвной церкви. Асфальтовый тротуар был мокр от сырости, все более и более пропитывавшей воздух, и блестел на свету как лаковый.

В этом доме жил Дружинин. И ему так ясно представилась вся патриархальная домашняя обстановка и старая, но все еще красивая, бесконечно любившая его и обожаемая им мать.

— Здесь я живу, — вскользь сообщил он.

Она с огорчением хотела высвободить свою руку, но он воспротивился.

— Я провожу вас до самого вашего дома. — И как бы для того, чтобы оправдаться, прибавил: — Я это потому, что если буду вам нужен когда-нибудь, чтобы вы знали, где я живу.

Когда она узнала, что живет он там только вдвоем с матерью, очень удивилась и наивно воскликнула:



— Но зачем вам такой большой дом? Там, наверно, комнат шесть.

— Восемь.

— И вам не скучно жить вдвоем в восьми комнатах?

Он признался, что иногда очень скучно, особенно, когда не работает. А работает он периодами, так сказать, запоем. И вот, когда становится скучно, он отправляется путешествовать.

— Но и во время путешествия часто бывает скучно. Мир так велик. Что значит перед ним этот дом с восемью почти пустыми комнатами, когда весь земной шар кажется иногда таким же пустым.

Она не могла понять этого. Искренно и страстно позавидовала, что у него есть возможность путешествовать. Она бы, кажется, один глаз отдала за то, чтобы другим видеть чудесные страны, о которых ей суждено было только читать.

— Вот почему еще я так хочу быть выдающейся певицей, — закончила она. — Я бы тогда могла ездить по всем этим странам.

Он тихонько засмеялся.

Это ее обидело.

— Чему вы смеетесь?

— Простите, — мягко ответил он. — Мне вспомнился телефонный мальчик в Петербурге, в одной гостинице, где я останавливаюсь. Этот мальчик — племянник швейцара из деревни. Я любил разговаривать с ним и часто рассказывал, что я видел сам. «Вот бы я хотел путешествовать!» — воскликнул он однажды. — Зачем? — спросил я. И он ответил: «Как зачем? Чтобы удивляться!»

Она еще не успела обдумать, к чему он сказал это, как снова раздался рожок кареты скорой помощи. Здесь, в этой тихой улице, звук рожка, извещавшего об ужасе жизни, прозвучал особенно дико.

— Опять! — с досадой воскликнула она.

Дружинин нахмурился и пробормотал как будто про себя:

— Вот отчего мне иногда так и скучно.

— Перестаньте. Когда придет наш черед, тогда пусть. А пока надо думать только о жизни, только о жизни.

Что значило это — пусть, — осталось для него неясным. Но его поразила та страстная

жажда жизни, которая горела в ее словах и в голосе. Тут было какое-то странное сочетание ребенка с женщиной. Или последнее привито той тяжелой нищенской жизнью, в которой прошло ее детство.

Во всяком случае, в ее натуре было то, чего ему так недоставало всегда. Но рядом с ней и у него самого пробуждалось что-то подобное. Он невольно подумал: «А хорошо было бы исполнить ее желание, дать ей возможность путешествовать, а еще лучше самому поехать с ней».

Но он вспомнил о своем патриархальном доме и о матери. И еще острее вспомнил о том, что он много старше ее. Но тут же ясно представился Стрельников, и стало ревниво жаль не то себя, не то ее, не то что-то ценное, может быть, единственное, что может ускользнуть от него. Он безотчетно прижал ее руку. Вопросительно безмолвно на нее взглянул и подумал: «В самом деле она так прекрасна, или мне только кажется. Надо непременно познакомить ее с матерью».

— Ларочка, — сказал он, — ответьте мне прямо: правду ли вы мне сказали там, у моря,

что еще никогда не любили. Впрочем, нет, не надо, я верю вам. Скажите другое: говорил ли вам Стрельников о своей любви?

— Да, говорил, — ответила она чистосердечно.

Теперь ему мучительно захотелось знать, говорил ли он ей об этом там, на берегу, после объяснения с ним или раньше.

Но не успел он еще раскрыть рот, чтобы спросить ее об этом, как она поспешила добавить лихорадочно и смущенно:

— Прошу вас, не спрашивайте меня больше ни о чем таком.

— Почему? — ревниво вырвалось у него.

Но она уже была рада и тому, что он не настаивал на первом вопросе. Теперь она и сама не могла бы ответить вполне определенно, любит ли Стрельникова или нет. Он сейчас там около больного ребенка и этой женщины, с которой не может быть счастлив.

Что если ребенок умрет.

Эта мысль как будто сразу отделила ее от Дружинина, и она обрадовалась, когда заметила, что подошли уже к самой калитке того дома, где она жила.

Тут Дружинин опомнился, что не предложил сразу довести ее, а пошел пешком.

— Разве вам со мною было скучно? — спросила она с простодушным кокетством.

— О, нет, но, может быть, вы устали?

— Нисколько. Я и не заметила, как дошла. Вот только эта карета, — поморщившись, добавила она. — Я боюсь, как бы эта история опять не приснилась мне во сне.

Калитка оказалась заперта. Она позвонила.

При мысли, что сейчас они должны расстаться, Дружинин ощутил ту тоскливую опустелость души, которая заставляла его или пить, или пускаться в далекие путешествия.

Из-за садовой решетки слышались шаркающие шаги дворника, сиплый кашель и бормотанье.

Сейчас она уйдет, и утратится что-то невознаградимое.

Он быстро наклонился к ней и спросил:

— Ларочка, могли ли бы вы полюбить меня?

Дворник звякнул ключом, открылась тяжелая калитка, и она, подавая ему руку, отве-

тила:

— Не спрашивайте меня сейчас. Разве вы не видите...

И уже за решеткой калитки добавила:

— Если хотите, придите завтра, в сумерки.

Ключ повернулся в замке, и она стала быстро удаляться в глубь сада.

Он следил за ней с загорающейся жадностью. Деревья и темнота скрыли ее силуэт. С моря тянуло туманом и йодистым запахом морского дна.

# XI

Девочка Стрельникова умерла.

Когда он смотрел на это маленькое, истерзанное страданием тельце, у него было жуткое сознание своей вины. Но не перед этим крошечным кусочком тлена, а перед чем-то высшим, что заставляло это тельце думать, чувствовать, жить.

То смутное, что запало в голову два дня тому назад, когда выяснилась опасность, теперь почти утвердилось: точно само зло подсмотрело тайное его желание и поспешило его осуществить.

Нянька завесила зеркало, как только пришла эта смерть: чтобы душа, девять дней витающая в доме жизни, не увидала себя в зеркале раньше, чем предстанет перед Господним престолом.

Было так, точно душа этого ребенка присутствовала здесь и свидетельствовала против него, и хуже всего было то, что в ответ на это таинственное свидетельство он ничего не мог возразить с тем упорством, с каким возражал ее матери.

— Это просто усталость, — старался он успокоить себя.

Двое суток почти без сна провел он у постели ребенка вместе с матерью. После той безобразной сцены они как будто хотели друг перед другом выказать свое беззаветное чувство к невыносимо страдавшей малютке.

— Пойди отдохни, — уговаривала его она. — Я все равно не буду спать.

— Нет, пойди ты. Ты больше измучена.

Но в этих видимых заботах друг о друге не было ни истинной жалости, ни взаимного доверия; оба они страдали при виде умирающего ребенка, но за этим страданием у каждого таилось свое корыстное и низменное.

Их соперничество в проявлении любви и жалости было важно не столько для умирающей, сколько для их будущих счетов друг с другом.

И это особенно отвратительно ясно стало теперь, когда девочка умерла.

Был один миг, когда низменно-человеческое уступило общему горю: это, когда на исходе третьей бессонной ночи ребенок содрогнулся в последний раз и взглянул мимо отца



и матери остекленевшими глазами.

Мать со стоном припала к дочери.

Он также не выдержал и заплакал.

И тогда они обратились друг к другу, с такой тоской и отчаянием, точно, оплакивая свое дитя, безмолвно навеки прощались с тем, что было по-своему дорого каждому из них.

Но когда они совсем отступили друг от друга, и она подняла на него благодарные, молящие и мучительно спрашивавшие о чем-то глаза, он опустил ресницы, и стало неприятно и как-то стыдно: ясно было земное желание проникнуть в его душу как раз тогда, когда эта душа раскрылась совсем для иного.

И с этого уже неизбежно началось то, что привело к таким ужасным последствиям.

Еще было в душе полумистическое сознание виноватости, а разум утверждал, что все это неправда; что на самом деле, от того, что он мечтал об избавлении, девочка умереть не могла. Наконец, может быть, и то, что, если судьба решила разбить это звено, соединявшее его с женщиной, которую он не любил, эта судьба знала, что она делала: она не хоте-

ла дальнейшей лжи и насилия его над собою именно теперь, когда все это должно было стать совершенно невыносимым.

В эти дни он не видел Ларочку, но, наперекор подавленной несчастьем мысли, она вспоминалась ему как раз в те самые минуты, когда душа готова была уступить состраданию и скорби. И почему-то рядом с ней неотступно вставал Дружинин, опять-таки ни разу не посетивший его за это время.

Все это вместе беспокоило его, и хотелось увидеть ее хотя из окна, что-то проверить, в чем-то убедиться. Он пробовал приписать это усиленное внимание тому, что чувство его подвинчено неясным отношением к ней художников и особенно Дружинина. Пусть оно было отчасти так, но это лишь раздражало то настоящее, что испытал он при первом знакомстве с нею.

Не для того ли он и к художникам привел ее, чтобы взвесить свое чувство. Часто на людях мы яснее становимся сами себе и вернее определяем цену своих движений и порывов. В сущности, все мы актеры, и не только наши действия, но и переживания выясняются

вполне лишь на подмостках.

Так думал Стрельников, но, желая видеть девушку в такие страшные для него минуты, объяснял себе это желание лишь тягостью одиночества. Просто хотелось иметь около себя чуткую душу, которая поняла бы его страдания и уже одним этим принесла бы облегчение.

Та, которая переживала с ним еще горшее страдание, уж по одному этому не могла смягчить его горе, а главное было то, что за ее страданием таилось нечто по существу ему враждебное.

Иногда Стрельников подходил к окну и вглядывался почти в каждую женскую фигуру и вздрагивал, как тогда ночью, каждый раз, как представлялось что-то похожее на Ларочку. Часто ему хотелось повернуть к себе ее начатый портрет, но он не сделал этого, не только потому, что кто-то зорко за ним следивший, мог заметить, а потому, что самому ему представлялось это в такое время зазорным, почти неприличным.

Однако, и в эти ужасные для него дни и часы он чего-то ждал с ее стороны, смутно наде-

ялся на что-то, что должно было поддержать его твердость.

Так и случилось.

В самый день смерти девочки, под вечер, из цветочного магазина принесли неизвестно от кого цветы, белые пахучие цветы, в самом запахе которых было что-то неуловимо-сливающееся со смертью.

Туберозы.

Еще никто из знакомых не знал о смерти ребенка; в доме знала лишь нянька, которая одна выходила от времени до времени по необходимости исполнить то или другое поручение, требуемое жизнью.

Значит, девушка интересовалась тем, что творится за его стенами, и первая узнала о смерти ребенка.

Это было так для него очевидно, что даже не стоило расспрашивать няньку.

Это его ободрило, взволновало и тронуло.

Как ни была потрясена обрушившимся горем мать, она отвела воспаленные от слез и бессонной муки глаза от ребенка и спросила, кивнув на цветы:

— Это ты распорядился?

У него на миг явилось желание солгать для ее успокоения, но сейчас же подумал, что лгать перед этим трупиком было бы непристойно, и неверным голосом произнес:

— Нет, не я.

И в ту же минуту заметил, как подозрительная тень скользнула по ее лицу.

— Кто же?

Она смотрела ему прямо в глаза, и он чувствовал, как кровь подступает к его щекам вместе с острым болезненным раздражением.

— Не все ли равно. Как ты можешь спрашивать об этом в такую минуту!

— Именно в такую минуту! — ответила она со строгостью, заставившей его понять ее правоту, но не примириться с ней. — Именно в такую я не хочу и имею право требовать, чтобы не было этого.

Он был возмущен, и опять-таки не тем, что она могла так чувствовать, а тем, что она не постеснялась высказать это и притом в столь рассчитанной и едкой форме, даже в присутствии няньки, принесшей цветы.

— Как тебе не стыдно, — произнес он с сдержанным упреком.

— Нет, как тебе не стыдно, — возвратила она ему его слова, но уж с большей глубиной и горечью.

Он покачал головой и стиснул зубы, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Нянька, принявшая цветы от посыльного, все еще оставалась здесь с цветами в руках, не зная, что с ними делать.

Тогда он, чтобы покончить с этой неприятной сценой и вместе с тем показать, что ей не уступает, распорядился поставить цветы к себе.

— Вот это им настоящее место, — зло и сухо произнесла она.

Цветы унесли, но аромат после них остался, и с ним осталось раздражение, такое неуместное около умершего ребенка, не успевшего остыть.

Стрельникову было тяжело оставаться здесь, и он вышел в мастерскую. При виде этих белых цветов, которые прислуга поставила в глиняную крынку от молока, он почувствовал прилив бесконечной нежности.

В изнеможении опускаясь на диван и закрывая глаза, он прошептал:

— Милая.

И страстно, почти болезненно захотелось ее видеть.

За эти три дня, когда меньше всего он хотел о ней думать, эта нежность как-то сама собой незаметно выросла в душе, но он затаил бы в себе ее и теперь, если бы не почувствовал, что девушку сейчас незаслуженно оскорбили.

— Милая, милая! — как в забытьи повторил он уж вслух и, вдруг услышав сам свой голос, очнулся, вскочил с дивана и испуганно взглянул в соседнюю комнату.

Там в реянии сероватых сумерек склонилась над умершим ребенком женщина в черном, показавшаяся ему более чужой, чем всегда.

Она не могла слышать сорвавшихся у него с языка слов, но после только что происшедшей размолвки, тяжело было оставаться с ней.

Он еще раз взглянул туда и съежился от непонятного, жуткого чувства.

Закружилась голова и, не сказав никому ни слова, он накинул пальто и шляпу и вы-

шел.

\* \* \*

Нет, этого не может быть. Наверное, ему так только померещилось.

А померещилось ему, когда он нечаянно обернулся, проходя в калитку дома, где жила Ларочка, что в некотором отдалении за ним черным призраком метнулась знакомая фигура и приникла в тень к забору.

«Не может быть», — сказал он сам себе. Однако, поражен был этим сходством до того, что хотелось броситься назад и убедиться, что ошибся.

Но тут же стало стыдно этого подозрения.

Все это потому, что я сам поступаю нехорошо, идя сюда в то время, как умершая девочка моя даже не перенесена из кровати на стол.

Захотелось себя оправдать: он — это другое дело. Во-первых, его присутствие теперь там только раздражает мать, во-вторых, он оставил ее не для такой низкой цели, как шпионство.

А, может быть, это еще хуже, шепнул какой-то язвительный голос изнутри.

Тогда он поспешил отмахнуться от своего



подозрения.

## XII

Стрельников раньше заходил к Ларочке, но теперь не вошел в дом, а просил дворника передать ей, что ее ожидает один господин. Имени своего он не назвал, полагая, что она догадается. Сам же остался дожидаться в саду, который оканчивался обрывом над морем.

Это был довольно большой и старый сад, в нем стоял лишь один зимний каменный флигель, а остальные постройки были летние дачи, небольшие красноватые домики, заколоченные на зиму.

Из флигеля сквозь деревья мерцали огни двух незакрытых окон и освещали облетевшие кусты сирени под ними. По-осеннему пахло гниющей от дождей, морских туманов и заревых рос листвой, отсыревшей корой деревьев и навозом. Но все эти запахи как будто качались, подобно пене, на широкой волне терпкого и солоноватого запаха моря.

Оно было совсем близко здесь, и протяжные глубокие вздохи его то приливали, то отливали из сада, не переходя через решетку его, как будто за этой гранью был совсем

иной мир.

Между деревьями видно было, как словно из самого моря поднимались целые гирлянды звезд, и оттого они были так необыкновенно яркие и чисты; и особенно ярко сверкало созвездие Скорпиона, вонзавшего свое жало в темноту над самым садом.

Вдыхая этот влажный аромат осени и моря, Стрельников глядел на звезды и на темные деревья, как будто сторожившие тишину, и на темные стены дома, за которыми жила она.

Глаз его, изощренный глаз художника, различал малейшие вибрации тонов, ухо ловило тончайшие звуки, обоняние — запахи. Он даже ясно ощущал солоноватый вкус воздуха. Никогда чувства его не были так изощрены, как сейчас. Но звуковые и даже вкусовые впечатления — все как будто было подчинено зрению. И все также окрашивалось в его представлении в свои особые краски, который он почти мог назвать.

Сейчас придет она, с своими золотыми волосами, и все крутом озарится и станет еще более привлекательным.

И при одной мысли, что увидит ее, Стрельников ощутил прилив такого неопи­с­уе­мо­го блаженства, что ему кого-то хотелось бла­го­да­рить за это.

— Что это со мною? — подумал он. — Вме­сто того, чтобы страдать, как подобает в моем положении каждому человеку с душой, я с та­кой страстью отдаюсь земным чувствам. Неужели я эгоист, неспособный страдать да­же тогда, когда страдают животные, пока не нарушилась связь природы между ними и их детьми.

И тут же заскреблась, как мышь, неприят­ная мысль: что подумает о нем эта девушка, когда узнает, что у него умер ребенок, а он явился к ней.

В самом деле, он совсем не останав­ли­вал­ся на этом, когда шел сюда. И зачем, в сущности, он пришел?

Надо было оправдать свой приход ка­ким-нибудь уважительным предлогом, или уйти, пока она не пришла.

Он сделал движение, чтобы несколько уда­литься от дома и таким образом выиграть время, необходимое для того, чтобы подыс-

кать объяснение; но в эту минуту что-то зашуршало в кустах, и к нему, ворча, стала приближаться большая дворовая собака.

В руках не имелось даже палки для защиты.

Было бы совсем глупо, если бы собака покусала его.

Он не без испуга присел на скамью и стал успокаивать пса легким заискивающим свистом.

Собака перестала ворчать, но все еще недоверчиво поглядывала на него, остановившись в нескольких шагах.

Затем, осторожно вильнула хвостом и стала тихо приближаться к его протянутой руке; вытянув морду, обнюхала эту руку, вильнула хвостом еще приветливее и подошла так близко, что он мог ее уже погладить.

Возня с собакой отняла у него те минуты, которые он хотел посвятить обдумыванию предлога. Когда же собака совсем сдружилась с ним, послышался стук двери и на пороге показался сначала дворник, а вслед за ним Ларочка.

Кофточка ее еще не была застегнута, а на

голову она набросила теплый вязанный платок, вместо своей белой шапочки.

Он двинулся к ней навстречу, и, когда она узнала его, лицо ее выразило удивление.

— А я думала... — вырвалось у нее.

Не договорила, что думала, и поспешила поздороваться.

Он догадался сам, что ожидала встретить не его.

И прежде, чем оказал хоть слово, сердце его облилось ревностью.

«Может быть и цветы были не от нее, а я то...»

Но не успел он дать волю этому огорчению, как она торопливо, точно оправдываясь, заговорила:

— Дворник мне доложил только: господин, и я никак не могла себе представить, чтобы это были вы.

— И думали, что это Дружинин, — не сдержался он.

Ему показалось, что она несколько смутилась от такой прямоты. По крайней мере, в тоне ее была та же торопливость и виноватость.

— Да, скорее, он. Я узнала, что у вас такое горе, и никак не думала.

Она повторялась. И чтобы показать ей, что он понимает ее смущение, перебил ее:

— Вот как. Значит, Дружинин вам и сообщил об этом.

— Нет, я сама. Я не могла оставаться спокойной, зная, что ваша девочка больна и... потом узнала.

— И послали цветы?

— Да. Я не решилась сама принести их. Я думала, что в такую минуту вам не до меня.

— И, как видите, ошиблись, — несколько примиренный ее признанием, тихо произнес он. И тут же подумал: рассказать ей или нет о том, как были встречены эти цветы.

Под осенними звездами, горевшими так необыкновенно ярко, в этом опустелом саду над морем, прикрытая вязаным платочком, она была так несказанно привлекательна, что хотелось, вместо всяких объяснений, взять ее за руку, притянуть к себе и сказать, что, несмотря на это горе, может быть, благодаря ему, он убедился, как она бесконечно ему дорога, и пришел только затем, чтобы

сказать ей это.

И если бы она встретила его иначе, если бы не вплелось так нечаянно имя Дружинина в первые слова их беседы, так бы он и сказал. Но тут у него снова сорвалось с языка:

— Значит, Дружинин бывает у вас.

— Да, был. Всего один раз.

— Всего один раз, — повторил он ее слова с недоброй иронией. — Вы, может быть, сожалеете, что обманулись сейчас в своем ожидании.

— Зачем вы говорите это, — печально произнесла она и села на скамью, не то огорченная, не то подавленная вопросом.

Жалкое личико ребенка прошло перед его глазами. Как мелочен и ничтожен он должен был показаться ей в эту минуту.

— Вы правы, — сказал он, переборов себя. — Я не знаю, как это у меня вырвалось. Усталость... Нервы... Я не спал эти ночи, и мне сейчас все представляется в бреду. Даже то, что я вижу вас.

Она опустила голову и прошептала:

— Вы очень любили свою девочку, я знаю.

— Да, любил.



Он глубоко вздохнул и покачал головой.

— Впрочем, я не знаю. Я ничего теперь не знаю, — сознался он, закрывая руками лицо.

— Сядьте. — Она коснулась его локтя, и он сел рядом с ней.

Собака, все время теревшаяся около колен девушки, задела пушистым хвостом его руку и посмотрела на него внимательным взглядом.

Ларочка провела рукой по рыжей пушистой шерсти собаки и, как-то неловко взяв по пути его руку, обратилась к нему с серьезным, почти важным лицом.

— Я понимаю.

В ней, как во всякой женщине, независимо от ее молодости и неопытности в жизни, заговорило это природное отношение в известные минуты, как к ребенку, к тому, кто дорог сердцу, хотя бы он был вдвое старше.

— Я все понимаю. Но, может быть, лучше не теперь. Лучше после.

Так говорила она, а между тем ее рука инстинктивно сжимала его руку. Уж одно то, что он пришел в такую минуту, придавало этому событию важность исключительную и

обязывало к чему-то серьезному.

Дрожь и тепло ее руки, от которых поднималась в нем вся кровь, рассеяли все его колебания. Да, ребенок, которого он любил, едва успел остыть, но она поняла все и не осудила, значит, так надо.

— Так надо, — повторил он вслух. — Именно теперь.

Она взглянула в его глаза с испугом и радостью. Этот взгляд зажег, как молния, в его сердце что-то также осужденное, почти высушенное, но еще цепко державшееся корнями. И пока это горело в нем, он чувствовал себя сильным и смелым.

— Лара, — произнес с ясным восторгом, погружая в ее глубоко раскрывшиеся глаза свой взгляд, как бы спрашивая и призывая ее. — Лара.

В этом имени, которое он пламенно повторил дважды, было все.

И она вся встрепенулась. Уже потянулась к нему, но потом точно вспомнила что-то.

— Постойте. Вы хотели знать о Дружинине.

Заметив, что брови его нетерпеливо

вздروгнули, она поспешила.

— Нет, нет, я должна сказать. У него, кажется, — она запнулась, но затем решительно закончила банальным выражением, — есть серьезные намерения по отношению ко мне.

— Да? — машинально произнес он, еще с трудом ее понимая.

— Но вас это не должно тревожить. Ведь нет? — боязливо спросила она.

В сердце погасло. Он выпустил ее руки из своих и протянул, нахмурясь:

— Вот как. Что же, это хорошо. К тому же он так богат.

— Нет, вы меня не понимаете, — ответила она, нисколько не обидясь. — Он мне нравится вовсе не потому, что он богат. И все было бы хорошо, если бы не эти серьезные намерения. Он, видите ли, пригласил меня к себе, чтобы познакомить с своей матушкой. Но предупредил, чтобы я не упоминала в ее присутствии, что мы познакомились в ресторане. Затем, — продолжала она с тонкой улыбкой, — чтобы я была осторожна во всем. Вообще, из его намеков я поняла, что должна показаться ей совсем не тем, что я есть. Так ко-

мично, — простодушно поверяла она.

Но Стрельников вовсе не находил это комичным. Если Дружинин решил ее ввести в дом, познакомить с своей матерью, значит, действительно имел серьезные намерения. А ее признание, что Дружинин нравился ей, еще более его встревожило.

— Однако, в эти три дня вы далеко ушли, — сказал он с язвительной иронией. — Чем же он так пленил вас?

— Не знаю. В нем есть что-то. Какая-то сила. И потом, мне кажется, он никогда не был счастлив.

— Не хотите ли вы осчастливить его?

Она с серьезным укором сказала:

— Не говорите так. Да, я скажу вам. Если, как признаете вы, и он тоже и многие, я действительно хороша и могу принести счастье, пусть так и будет. Из тех, кто мне нравится, мне хочется быть ближе к тому, кто несчастнее.

Признание это ему показалось таким наивным и нелепым, что он удивленно раскрыл на нее глаза.

А она, обернувшись с нему всем лицом

продолжала в тихом экстазе:

— Да, да, пусть так и будет, так и будет.

— Что за выдумка, — вырвалось у него.

— Нет, это не выдумка. Меня так влечет.

Вот вы несчастны теперь, и меня тянет к вам, мне хочется быть с вами, хочется приласкать вас.

И она с нежностью положила ему руки на плечи и приблизила к его лицу свое лицо, точно ожидая поцелуя.

У него задрожало сердце, хотелось забыть все эти рассуждения и слова, но недосказанное не могло остаться замкнутым.

— Вы не понимаете, что вы говорите, — воскликнул он. — Значит, вы обрекаете себя на жертву.

— Почему? — удивилась она. — Вот и вы о жертве. Вовсе нет. Я только не хочу принадлежать кому-нибудь одному.

Он был окончательно поражен и не знал, что о ней думать.

— То есть, как же это так! Да, понимаете ли вы, что значит слово принадлежать.

Она, несколько не смутившись, ответила:

— Конечно.

Он вскочил с места так быстро и неожиданно, что испуганная его движением собака отпрянула и тьякнула на него.

Девушка покраснела и торопливо прибавила:

— Это вовсе не значит, что я буду походить на одну из тех, чьими именами исчерчено там зеркало.

— Но, — все еще удивленно повысив тон, хотел он возразить ей и не мог, так она была трогательно прекрасна.

— Вы дитя и больше ничего. И теперь я знаю, что мне нужно делать.

И опустившись рядом с ней на скамью, он в страстном порыве притянул ее к себе.

Она прижала голову к его груди, восторженно и нежно глядя в его глаза снизу вверх; платок сполз с ее головы и тяжелые золотые волосы, как нимб, окружили лицо.

Ее невинные губы были полны зноем, но он медлил поцеловать ее. Долго, молча, любовался ее сияющим лицом, потом сказал:

— Я хочу тебе говорить, — ты.

— Да, да, ты, — ответила она, как эхо.

— И хочу тебе сказать, что я тебя люблю.

— Люблю, — повторила она.

Тогда все глубже и глубже погружая свой взгляд в ее широко открытые глаза, он стал медленно наклоняться к ней, и как будто влил в ее свежие губы свои, так много многих целовавшие.

И когда, задыхаясь, оторвался от ее губ, услышал голос, который, казалось шел, у нее из самого сердца, так он был глубок и беззаветно искренен.

— Это мой первый поцелуй в жизни. Как хорошо...

Ее глаза закрылись, как закрываются ночные цветы от утреннего солнечного луча.

Когда он наклонился, чтобы поцеловать опять эти закрывшиеся глаза, губы его ощутили теплую солоноватую влагу:

Ее слезы.

### XIII

На похоронах девочки не было никого посторонних. Художникам было известно об этом несчастье, но они не решались выразить свое сочувствие, как это принято, потому что знали, что хозяйка не любит их, и потому, что смотрели на это печальное событие, как на освобождение Стрельникова.

Кроме того, у них было и оправдание: хоронили ребенка в будни, а они почти все учительствовали.

Провожали гробик только отец с матерью, нянька, да две сестры покойной от первого мужа Ольги Ивановны, девочки десяти и двенадцати лет.

От них был веночек из незабудок, маленький, бедный, бедный веночек, с белой лентой, на которой золотыми буквами было напечатано: «Нашей незабвенной сестричке, Мусе, от любящих Кати и Сони».

Кто их надоумил заказать такой веночек, Стрельников не знал, но ему не хотелось думать, что эту фальшь сотворила мать, так как в действительности сестры не любили этой



маленькой, некрасивой девочки, из-за которой им часто нельзя было играть и шуметь, как они хотели.

Было в их неприязни нечто инстинктивное, заставлявшее видеть в этой наполовину лишь, родной им сестре свидетельство измены тому, кто дал им жизнь.

Почти каждый раз, как девочка заболела, — а это случалось довольно часто, — они разлучались с матерью; их отправляли к тетке по отцу, офицерской вдове, которая демонстративно не явилась на эти похороны.

День, когда хоронили девочку, был серенький и скудный. Все казалось почему-то страшно обедневшим, не только природа, но и вся жизнь. И даже люди на улицах были одеты как будто беднее, чем всегда.

Гроб был полон цветами, заказанными Стрельниковым, и цветы покрывали его крышку.

И сама маленькая умершая была похожа на бедный, жалкий цветочек, который смерть раным-рано сорвала для какой-то своей определенной цели.

И вот, когда этот белый маленький гробик,

полный цветов, хотели опустить в яму, мать бросилась к нему с страшным криком, охватила его руками, не желая расстаться с ним.

Пронзительно заголосила нянька, но, когда заплакали и девочки своими тоненькими голосами, нянька сразу оборвала плачь, утешая их, а Стрельников стал успокаивать Ольгу Ивановну.

Ему еле-еле удалось оторвать ее от гроба, и гроб опустили в могилу и стали засыпать.

Мать почти без чувств повалилась на землю, и, когда очнулась, гроб был наполовину засыпан.

Тогда она уже без крика, без рыданий и слез устремила глаза свои в эту быстро заполнявшуюся яму, и лицо ее выражало такое безнадежное отчаяние, точно зарывали последний свет, последнюю радость и надежду ее жизни.

Стрельникову было жутко смотреть на эту женщину, так как он знал, откуда больше всего ее отчаяние. И отчего у него самого не было в душе ничего такого, что, по его мнению, должно быть у каждого человека с сердцем в его положении.

Напрасно он хотел растрогать себя чувствительными мыслями, чтобы вызвать хоть слезы на свои глаза. Ведь, эта девочка, покрытая цветами, в заколоченном белом гробике, была его дочь: плоть и кровь его. Она называла его «папа», ласкалась к нему, радовалась игрушкам, которые он ей покупал, и любила смеяться, когда он ее, как тоненькую веточку вербы, подбрасывал вверх и ловил, приговаривая:

— Раста большая, во-от такая!

И у него самого было тогда в душе что-то нежное и сладостное. Бог знает, будет ли когда-нибудь еще у него ребенок, а вот ее уже не стало.

Он усиленно старался всколыхнуть свое сердце этими воспоминаниями, чтобы слезы очистили его совесть перед ней и перед самим собой.

Но слезы не приходили; они поили какие-то иные корни жизни, более важные для него в эти часы.

Наперекор всему, в нем затаенно и глубоко трепетала радость освобождения и надежда на новое счастье, которое должно было погло-

тить все остальное чувство. Перед глазами неотступно сияла девушка, с волосами золотыми, как мед, ее беззаветные глаза, ее невинные губы. Хотелось только одного сейчас, чтобы вся эта церемония поскорее кончилась. Чтобы скорее, скорее земля сравняла могилу с остальными холмиками, и чтобы эта женщина в черном поднялась с земли чужой и далекой ему.

И не жаль было ее, хотя он и хотел отдать этой жалости все сердце, и осуждал себя, что жалости так мало.

Почти наравне с ребенком и матерью, ему было жаль того кустика сирени, что рос на краю этой детской могилки: когда копали землю, пришлось оборвать корни этой сирени, и теперь эти белые, ободранные корни торчали из земли, точно обнажившиеся кости скелета.

Взгляд то и дело поневоле обращался к ним, и хотелось, чтобы скорее и скорее засыпали землей эти белые оборванные и ободранные корни.

Взмахивали лопаты могильщиков, падала земля в яму, яма мелела.

Еще и еще.

Сирень вздрагивала не только своим стволом и веточками, но и каждым оставшимся увядшим листиком своим.

Вместе с последней лопатой брошенной земли она как будто успокоилась и перестала дрожать.

Покуда она еще оставалась жива и свежа, но уже обречена на гибель. Вместе с оборванными корнями ее, упавшими на землю и схороненными там так же, как были схоронены оборванные цветы и этот несчастный ребенок, деревцо потеряло то, что его питало, и теперь постепенно будет увядать.

И, когда настанет весна для всех других деревьев, деревцо окончательно высохнет, и его вырвут из земли и выбросят вон, как часто выбрасывают старые, высохшие кости, когда роют на переполненном кладбище могилы.

\* \* \*

Ольга Ивановна встала и он изумился, что глаза ее были совершенно сухи, а лицо, правда, истомленное и бледное от перенесенных страданий и бессонных ночей, как-то злое-ще спокойно и неподвижно.

Девочки с испугом и любопытством глядели на мать, точно не узнавали ее. И ему, в этом трауре, ниспадавшем с головы, она показалась до странности чужой и новой, но внушающей к себе необыкновенное почтение.

Вот она взяла девочек за руки, и, не глядя на него, сказала глухим и как-то особенно суровым голосом:

— Все кончено. Пойдем.

Может быть, это относилось только к ним, но он машинально ответил:

— Да, все кончено.

Она взглянула на него, кажется, в первый раз за эти дни, прямо и строго, и он смутился, сам не зная почему, и стало еще более досадно на себя и даже неловко, что он не проронил ни одной слезы.

В последний раз взглянув на могильный холмик, она стиснула зубы, закрыла глаза, потом вдруг повернулась так быстро, что всколыхнулся ее легкий креп на ветру и задел стоявшего неподвижно Стрельникова по лицу и глазам.

Это прикосновение траурного газа заставило его вздрогнуть от непонятного холода и

на миг сомкнуть веки.

Когда он снова раскрыл глаза, она шла вперед, прямая и высокая, держа обеими руками девочек.

Первым его желанием было сейчас же уйти, уйти и никогда не возвращаться к ней более, но бегство такое было бы отвратительно. Кроме того, он должен был сознаться, что его что-то жутко к ней тянуло.

Пошел вслед, на ногах чувствовалась неприятная тяжесть: это к обуви пристала сырая могильная земля. Он нервно, торопливо стряхнул ее и успокоился только тогда, когда стер последние следы с обуви о желтую осеннюю траву.

Черная фигура все удалялась, и он поспешил нагнать.

## XIV

Вероятно, потому, что в доме не была произведена необходимая дезинфекция, мать отвезла девочек обратно к тетке и вернулась домой вместе с ним.

Но, едва они переступили порог дома, их встретила такая тишина и опустелость, что они, не сказав друг другу ни слова, разошлись по своим комнатам.

Стрельников вошел в мастерскую и, как был в пальто и шляпе, остановился посреди-не. Тут ничего не переменилось; все вещи были на местах, а, между тем, опустелость ощущалась с ужасающей ясностью, и эта опустелость проникала не только стены, но как будто и самые предметы и его самого.

«Не надо было возвращаться», — как-то телеграфически простучала в его голове прежняя мысль.

Однако, он сбросил на диван шляпу и пальто, наперекор всему явилась потребность доказать себе, что вернуться было необходимо, что предстоит сделать какое-то очень важное дело.



И, как всегда у него бывало, раньше, чем начать это важное дело, он стал заниматься пустяками, как бы для того, чтобы отделаться от мелочей, который могли помешать или отвлекать.

Желая закурить, он увидел, что портсигар его пуст, и, подойдя к коробке с папиросами, захватил в горсть ровно столько папирос, сколько необходимо было, чтобы заполнить портсигар. Затем стал наводить порядок, перебирая вещи и намечая, что возьмет с собой, когда будет уезжать. Переехать решил на первое время в гостиницу, а там подыскать квартиру.

С этим словом — *там* — соединялось что-то чрезвычайно заманчивое, сладостное и большое, какое-то начало новой жизни, как будто совсем иной берег ее. Но, чтобы достигнуть этого берега, надо было переплыть ту холодную пустоту, которая текла сейчас перед ним.

Над этой пустотой реял и томил аромат цветов, смутно белевших в углу, на столе: туберозы, присланные ею; они волновали его кровь и торопили к чему-то.

Когда он перебирал свои вещи, ему за ящиком с красками случайно попалась под руку старая детская игрушка: пестрый паяц на палочке, в колпаке с погремушками. Эту игрушку он сам купил когда-то своей девочке, и она очень ее любила и звала выдуманном ею словом: «тилим». Может быть, потому, что, если подавить куклу, кукла издавала звук, похожий на это слово. Смешным именем Тилим отец и мать звали порой и девочку в минуту ласки.

Он вспомнил, как она вечером накануне своей болезни, искала своего Тилима, без которого не хотела уснуть: и капризничала и плакала, что никак не может найти, и он обещал ей купить нового Тилима еще лучше. При этом он сам изображал ей будущего Тилима, чтобы развлечь ее, успокоить и заставить уснуть.

Но она со слезами настойчиво требовала прежнего; очевидно, и тогда уже была больна. Матери не было дома, и ни отец, ни нянька не догадывались, что дело совсем не в игрушке, а в болезни.

И вот это маленькое воспоминание впи-

лось ему в сердце, как заноза, и пестрая истрепанная игрушка стала вдруг так дорога, что он не мог выпустить ее из рук и не мог оторвать от нее глаз.

В то время, как ни скорбный вид мертвого личика, ни самые похороны ребенка, но могли вызвать у него слез, эта жалкая игрушка пробуждала в душе невыразимую нежность и печаль: и слезы приливали к глазам и падали на яркие лоскутки, на колпак и бубенцы.

— Бедный, милый Тилим, — шептал он с горькой скорбью.

И маленькое некрасивое личико вставало в памяти то в тот, то в другой момент жизни, и только у него, только у этого жалкого личика, у этих болезненных беспомощных глаз хотел просить прощения и отпущения своей вины.

Дверь в ту комнату, где девочка умерла, была закрыта, но его потянуло именно туда.

Не расставаясь с игрушкой, еще с глазами, мокрыми от слез, он отворил дверь, и тотчас же пожалел об этом.

Она, очевидно, давно уже вошла туда через другую дверь, и теперь стояла вся в чер-

ном, устремив большие темные глаза на опустелую кровать.

Несмотря на то, что в комнате успели чисто-чисто вымыть полы и все прибрать так, как прибиралось только перед большими праздниками, чем-то пахло, напоминавшим о покойнице, не то лекарствами, не то увядающими цветами, хвоей и лаврами.

Лицо ее все было влажно от слез, и Стрельников еще раз заметил, что в то время, как слезы всегда портят лица, особенно женские, ее лицо во время плача становилось привлекательнее, а, главное, женственнее.

Он никогда не мог устоять против ее слез, и не столько потому, что становилось жаль ее, а потому, что она в такие минуты всегда непостижимым образом притягивала его к себе.

Она даже не шевельнулась, когда он вошел, и можно было бы, вероятно, уйти незамеченным, если бы он захотел, но удержало тайное желание, чтобы она увидела и его горе, и то, что он также плакал. Это было уже похоже на комедиантство, но он не мог отказать себе в нем, оправдываясь тем, что мину-

ту назад, когда у него потекли из глаз эти слезы, он был далек от всякого притворства.

Он даже не захотел скрыть или оставить игрушку, и первый взгляд ее обратился на эту смешную куклу в его руке.

— Бедный наш Тилим, — тихо произнес он, и слезы еще сильнее брызнули из глаз.

Это неожиданное проявление чувства ее поразило. Она подняла на него глаза, полные благодарности, но все еще не решалась сделать к нему движение.

Он подошел к ней, по пути положив на кровать игрушку, и, стараясь придать своему голосу твердость и спокойствие, произнес первые пришедшие ему на ум слова:

— Ну, полно, не надо, не плачь.

Между тем, как ему приятно было видеть ее плачущей и плакать самому.

— Но, ведь, ты и сам плачешь, как же могу не плакать я! Успокой меня. Успокой же, — с рыданием выкрикнула она и протянула ему руки.

Он понял, что значит этот вопль, и первая мысль его была сохранить все свое самообладание и даже уйти, но чувство, близкое к жа-

лости, однако же, не жалость, удерживало его.

Эти протянутые руки и полные слез умоляющие глаза, вызывая томительную слабость во всем теле, до дрожи в сердце, тянули его к себе.

— Ну, полно, полно, — взволнованно повторял он, принимая ее руки в свои и чувствуя, как пальцы ее тотчас же как бы поползли от его пальцев выше и выше к плечам его. Она точно тонула в своих собственных рыданиях и искала опоры и спасения в нем.

И его самого эти рыдания захлестывали и душили, оттого так судорожно начинало колотиться сердце и изнывать кровью.

Хотелось крикнуть самому себе: довольно, и вырваться. А вместо этого руки тянулись к ней, как бы для того, чтобы поддержать это высокое ослабевшее тело в черном.

Он взглянул в ее горевшее от слез лицо и еще более расширившиеся глаза с воспаленными большими зрачками. Теперь он понял, почему это лицо так влекло его, когда она плакала: слезы и рыдания придавали ему неотразимое выражение женственной беспо-

мощности и скорби.

И это лицо прижалось к его щеке, смешались слезы и тепло, что-то остро и знойно вспыхнуло в груди, и он стал целовать это лицо, впивая соленую влагу, в которой были хмель и отравя вина.

Тело ее бессильно к нему прижималось и как будто не отдавало отчета, чего он хочет, так мучительно его сжимая и комкая траур.

Но когда губы ее встретились как бы нечаянно с его губами, он почувствовал, как все его существо уходит в этот поцелуй.

«Боже мой, ведь, это кощунство», — с отчаянием подумал он. Но что-то, торжествуя и хохоча, беззвучной гримасой ответило в нем: «Кощунство? Пусть! Тем лучше!»

\* \* \*

Что-то белое, нежное и тонкое примешалось к мрачному, черному. Она не сопротивлялась; значит, то, что было и в самом деле кощунством, охватило и ее. Очевидно, тут скрывалась какая-то непобедимая тайна, установленная самой природой. Власть этой тайны он ощутил еще вчера.

В памяти блеснули волосы, душистые и зо-

лотые, как мед, покорное, юное лицо и полные влагой счастья глаза. Но, если его сейчас не могло остановить другое личико, неподвижное и страдальчески безмолвное, что могло значит то.

«Это прощание. Это в последний раз», — слабо попытался он оправдать себя. Но это оправдание исказилось новой гримасой беззвучно торжествующего хохота.

Не отрывая губ от губ, они точно плыли куда-то в сторону, пока не споткнулись о постель, на которой еще так недавно покоилась безгласная, безответная жертва, и упали задыхающиеся и дрожащие.

Что-то под ними вскрикнуло, как живое. Но они ничего не слышали. Да и что могло их остановить?



## XV

Все еще дрожа и отворачиваясь друг от друга, поднялись они оба, полные стыда и омерзения к самим себе.

Вместе с ними что-то упало с постели на пол с жалким звоном.

Это была кукла, которую он несколько минут тому назад положил на кровать. Старый, истрепанный, а теперь переломанный пополам Тилим.

Этот жалкий звон, эта переломанная кукла вызвали в нем чувство суеверного ужаса. Он еще раз попытался повторить себе в оправдание, что это прощание. Но то, что раньше убежало, уступая в нем зверю, теперь не только приближалось, а как будто, впивалось в него, как ядовитые извивающиеся змейки.

«Тем хуже, если прощание; тем хуже, если в последний раз. Тем хуже, тем хуже».

Он становился все гаже сам себе, и чувство это было так велико, что взять всю ответственность за происшедшее на свою душу было почти невыносимо.

С трудом поднял он взгляд на свою со-

участницу. Да, именно, соучастница. Ну, он зверь, он не так любил девочку, как мать. Ведь, она всегда старалась это поставить ему на вид. Но как же могла допустить подобное она? И не только допустить, а способствовать этому, отдаваться так же рабски, как он.

Уже больше не думалось о тайне природы. Никакой тайны не было. Были лишь два низких животных, которых кощунство не только не останавливало, а возбуждало.

И в то время, как ему жаль становилось себя, у него к ней не было жалости, а были только ненависть и злоба.

И, когда она, шатаясь, пошла к столу, и, отягощенная ужасом и раскаянием, опустилась в кресло и закрыла лицо руками, он повернулся, чтобы уйти, унося в душе ненависть и злобу к ней.

Он не только не сдерживал себя при этом, но ступал еще тяжелее и тверже, чем всегда.

Шел и чувствовал взгляд ее за своей спиной.

Однако, это не заставило его ни ускорить, ни сдержать шаг, хотя мысленно решил, что уходит навсегда. Он опасался только одного,

чтобы она не позвала его, не остановила жалобной мольбой.

И именно в ту минуту, когда подумал об этом, он услышал ее голос:

— Ты это что же, уходишь?

В голосе ее слышалась дрожь еще не вполне угомонившегося волнения и угрозы.

Остановился, но не оборачиваясь, твердо ответил:

— Да, ухожу.

Она услышала ту страшную правду в его голосе, которую он уже не хотел скрывать, и бросила ему в спину слова тяжелые и липкие, как могильная глина:

— Сделал гнусность и уходишь.

Он хотел стряхнуть с себя эти слова, как давеча стряхнул с ног землю на кладбище, и уйти. Но это не удалось.

Тогда он обернулся, злобно глядя на нее, пораженный тем, что она сваливает вину на него одного, чего он больше всего боялся:

— Так это сделал я? Я?

Тогда она как-то по-змеиному стала подниматься, молча вытягивая вперед голову и с ненавистью впиваясь в него глазами. Ему так

и казалось, что она сейчас зашипит, как змея.

— А кто же? Не меня ли ты обвинишь в этой гнусности? Не меня ли? А? — И, ударив себя руками в грудь, вдруг выпрямилась и показалась выше. Не давая ему ответить, как бы страшась, что он не позволит ей излить то, что ей необходимо было для самооправдания, как и ему, она лихорадочно, торопливо стала выбрасывать слова.

— Ты подкрался ко мне, как волк. Ты притворился плачущим, чтобы так подло воспользоваться. Я обессилела от горя. Три дня, три ночи не смыкала глаз. Я была почти счастлива, что могла здесь облегчить сердце рыданиями. Когда ты подошел, я думала, ты... в тебе человек, отец... Я думала, пожалел, а тебе нужно было унижить меня. Я не могла противиться, потому что не понимала, не могла допустить. Потому что у меня не было сил противиться...

Она с надрывом выкрикивала эти фразы и одним и тем же тоном, часто сопровождая их ударами рук в грудь, как будто выбивая их оттуда, веря, в конце концов, что так оно и было, и что в ней самой не вспыхнуло ни искры

желания.

Но он с злорадством напомнил ей, как она всем телом прижималась к нему и как впи- лась в его губы губами. Он старался восстано- вить все те мелочи сладострастия, который могли не только опровергнуть ее обвинения, но и убедить его самого, что виновата она, а не он.

Несколько раз она пыталась остановить его криками:

— Ты лжешь! Ты нагло лжешь! Замолчи!

Но он не унимался.

Вся муть, которая накопилась у него в сердце, выплескивалась сейчас в бешеном ис- ступлении. Вспоминалось не только то, что произошло сейчас, а все, что приходило на ум, все тайны ночей, все грязные черты, кото- рые могли подтвердить это обвинение, дока- зать, что она недостойна ничего, кроме пре- зрения и ненависти.

Она не оставалась у него в долгу и, пользу- ясь малейшей его запинкой, платила ему той же грязью.

Наконец, они стали кричать, не слушая друг друга, переплетая часто одни и те же сло-

ва, сливая свои мутные излияния, подобный двум потокам, вырвавшимся из одной и той же клоаки и на просторе опять слившимся в одно.

В этой грязи тонуло не только то, что было в их отношениях любовника и любовницы чистого или хоть угодного природе, но и то, что им обоим не могло не быть воистину свято: память о их ребенке.

То, что они сейчас так грязнили друг друга в той самой комнате, где этот ребенок был зачат и где он всего часы тому назад умер так страдальчески, было еще большим преступлением, чем преступление, которое они так злобно и даже предательски старались каждый сбросить с своих плеч на плечи другого.

Наконец, когда уже у него и у нее стали иссякать все унижительные обвинения и даже все низкие слова, которые они исступленно бросали друг в друга, она с отчаянием произнесла то, с чего ей, очевидно, следовало начать.

— О, я, ведь, знаю, зачем ты все это затеял, и отчего так подло на меня клеветешь. Ты хочешь уйти от меня и для этого тебе меня

надо унижить и загрязнить, чтобы, творя эту мерзость, ты чувствовал себя героем и героически соединился с этой рыжей девчонкой.

Она ударила его в самое больное место и теперь наслаждалась этим ударом, видя, как он побледнел.

— Ага. Ну, скажи, что это неправда. Скажи, что ты не побежал к ней, когда ребенок еще не успел остыть в этой постели.

Значит, это шпионила она.

Тогда, презрев тот плевок, который был обращен на любимую им девушку, он с мстительной рассчитанной жестокостью ответил:

— Да, это правда. Я ухожу от тебя к ней.

И, также наслаждаясь тем, как метко попала его стрела, добавил:

— Это почти единственная правда, которую ты сейчас сказала. И я ухожу от тебя, потому что люблю ее.

Она сразу сжалась и медленно опустилась в кресло. Она ничего не могла сказать.

Он беспощадно добивал ее:

— Как мне ни тяжела утрата ребенка, но я должен сказать, что давно бы ушел от тебя, если бы не она. Потому что я никогда не лю-

бил тебя. Так и знай.

Резко повернувшись, он вышел через мастерскую, на ходу надевая пальто и шляпу.

Это уж было слишком. Он не только уходил, но вырывал у нее то, что могло бы ей служить без него утешением: веру, что он хоть недолго любил ее; воспоминание о счастье, которое для одиноких и осиротелых тоже, что для заключенного птица с воли на окошке тюрьмы.



## XVI

Едва Стрельников вышел из дома, им овладела такая усталость, что хотелось лечь здесь же, на улице, на грязной мостовой. В этом состоянии сказывалась не одна физическая слабость, но и какая-то потребность унижения. Он сознавал теперь, что виноват кругом, и, несмотря на злобу, еще не вполне угмонившуюся в нем, острее всего сознавал, что поступил нехорошо, оскорбив так женщину, которая любила его сильно, даже беззаветно.

Может быть, в этой любви и таился главный ужас для него. Нет гнета более тяжкого, чем любовь, которая не нужна, но с которой связан крепкими узами.

Со смертью девочки эти узы, очевидно, распались; тем нестерпимее каждая попытка снова их спаять.

И все же он не должен был так поступать.

Если бы не было другой вины, еще более ужасной в его глазах, он способен был бы вернуться назад и от жестокостей перейти к покаянию: подобное уже бывало раньше. В такие минуты он склонен был к истинному ве-

ликодушию, и в такой крайности для него заключалась своя слабость.

Но сейчас вернуться он не мог. Давила вина еще большая. Потому большая, что она была совершена перед той, кого он любил, из-за кого и произошла вся катастрофа.

Он спешил к ней, чтобы покаяться во всем и этим хоть немного облегчить то бремя, которое никто не мог снять с его души.

На этот раз она приняла его у себя. Дома никого не было.

Взглянув ему в лицо, она сразу догадалась, что произошло что-то печальное и важное, и это печальное и важное заключалось не только в том, что он похоронил свою дочь.

Но она не испугалась и не растерялась, а прониклась к нему глубокой жалостью и желанием успокоить его во что бы то ни стало.

В ее сияющих глазах была покорная готовность для него на все.

С особой серьезностью, почти строгостью, она проговорила:

— Ничего не скрывай от меня. Ничего.

В этом «ты», которому вчера было положено начало и которое нынче было произнесено

ею так просто, заключалось для него целое откровение. Верно, и ее отец обращался так же к исповедникам, и она восприняла эту черту от отца.

Это еще более приблизило его к ней.

— Садись вот здесь и говори, — сказала она ему, указывая место возле себя на диване. И сама зябко закуталась в знакомый белый вязанный платок и с ногами забилась в уголок дивана.

Тихо проговорила:

— Мне немножко нездоровится нынче.

— Может быть, ты вчера простудилась?

— Нет, это не то. Ну, садись же, я слушаю.

Но он предпочел остаться у окна.

Наступали сумерки; они шли с моря, которое открывалось из окон так близко, близко. Серое было море, серое небо. И серые сумерки, точно рожденные этим небом и морем, подошли к окнам и обволокли их своей дрожащей паутиной.

Таинственно проникли в комнату, и она в этих сумерках как будто становилась все менее и менее реальной.

Так хорошо, так легче ему было исповедо-

ваться перед ней.

Долго не мог начать. Прислушивался, как все ныло и томилось в нем. Слова казались ничтожными, не имевшими того смысла, который от них требовался. И, когда он, наконец, заговорил, было почти стыдно слов, и оттого, верно, очень трудно было стать вполне искренним.

Хотелось много объяснить, внушить. Он то и дело ждал, что она остановит его негодованием, криком, даже плачем. Замолчал и смотрел на нее с тоскливым вопросом.

Но она сидела, не шевелясь, все больше и больше окутываясь сумерками, по временам как бы теряясь в них и тем вызывая на такие признания, всю силу и мрачность которых он проникал лишь теперь. Раскрывались бездны, полные смрада и отчаяния. Он не щадил себя. Ничего не скрыл, рассказал все, что было, и про свое кощунство и про то чудовищное, что произошло вслед за тем.

Тут он услышал рыдание. Оно было тихое и как будто далекое, но в нем таилась такая горестная печаль, что он застонал, бросился от окна к дивану, где вся она сжалась в ка-

кой-то комочек, потерявшийся в сумраке. И упал на колени и искал ее руки.

Он бы вполне ее понял и не осудил, если бы она теперь оттолкнула его.

— Я не должен, не должен был говорить все, — вырвалось у него в отчаянии.

Но она, продолжая горестно и тихо рыдать, проговорила:

— Нет, это хорошо, что ты сказал. Так надо, так надо.

Похолодевшие руки его дрожали в ее руках. Ей не легко далось это отпущение, и оно было так неожиданно, что потрясло его.

Он так же зарыдал и упал ей головой в колени, как это случалось с ним в детстве, когда, провинившись и раскаявшись, искал прощения у матери.

Слезы ее падали на его руки, и руки теплели от них, и в самом прикосновении этих милых рук к лицу его и глазам была отрада невыразимая.

Так они плакали долго, как бы поверяя друг другу этими рыданиями и слезами то, чего в словах нельзя было высказать.

Потом затихли в глубоком изнеможении

и лишь иногда вздыхали подавленно и скорбно.

Но вот он опять услышал ее голос, и на этот раз в нем была, несмотря на печальное спокойствие и кротость, покоряющая сила. Точно голос этот исходил не от нее, а откуда-то свыше.

— Иди сейчас к ней и примиришь. Перед ней ты виноват больше, чем передо мной.

Он на своей голове ощутил ее руки, как благословение, и, если бы в эту минуту она потребовала от него величайшей жертвы, он с радостью пошел бы на все.

— Да, да, я пойду, — ответил он дрожащим от непонятого и невыразимого восторга голосом. — Любовь моя, я пойду.

И, приложив ее пальцы к своим еще влажным глазам, он замер так в бесконечном блаженстве и тихо вышел.

## XVII

Что-то остановило его на пороге, дохнуло тревогой и холодом.

Но сердце было переполнено новым чувством, в котором заключалось так много доброты, что он переступил порог с светлым желанием мира и прощения. Ведь, бывает же, что люди расходятся и все же остаются друзьями. И он останется ее другом, будет помогать ей.

Отпер дверь квартиры своим ключом и был непонятно поражен, когда попал в полную тишину и темноту.

Стало в первую минуту жутко от этой темноты и безмолвия. С дрожью в сердце припомнилось, как один его приятель, знаменитый артист, явился глубокой ночью домой и в темноте наткнулся на что-то тяжелое, висевшее посреди комнаты. Зажег спичку, оказалось, что повесилась его жена.

Стрельников поспешил чиркнуть спичкой. Сера вспыхнула, но тут же отлетела шипя и погасла. И стало еще темнее и тише, и сильнее охватило предчувствие неминуемой бе-

ды.

Захотелось бежать, но он с усилием подавил свою нервность и малодушие.

Снова зажег спичку и при ее маленьком колеблющемся пламени прошел в свою мастерскую. Здесь он засветил свечу, и огонь несколько успокоил его. Как не пришла в голову такая простая мысль, что хозяйка могла уйти?!

Все же он с беспокойным волнением направился в соседнюю комнату, свидетельницу всех пережитых ужасов.

Комната была пуста.

Он, уже ободрившись, обошел всю квартиру, и, наконец, сделал то, с чего следовало начать: посмотрел в переднюю. Ее пальто и шляпы с траурным крепом там не было.

Ясно, что она ушла. Куда? Надолго ли?

Может быть, к детям, а, может быть, на практику. Узнать было не у кого. Прислуга, отпущенная после похорон, не возвращалась.

Что же теперь делать?

Он так приготовился к покаянию. Представлял себе чувствительную сцену примирения, может быть, слезы, даже упреки и моль-



бы. Он приготовился исполнить свой долг сейчас, пока горело сердце слезами. С этим никак не вязалась такая простая вещь, что ее нет дома.

Не ожидать же до завтра. Здесь это ему казалось совсем невозможным. Лучше прийти снова утром, а эту ночь провести в какой-нибудь гостинице или у кого-нибудь из приятелей.

Только не у Дружинина.

Решил некоторое время обождать ее.

Вернулся в мастерскую и сел на диване. Заметил, что тубероз уже не было, но и это не затмило его доброты. Подумалось только, что, будь на месте эти цветы, не так подавляла бы тишина и воспоминания.

Что-то вспомнил. Вернулся в ту комнату и в темноте поднял изломанную игрушку. Нерешительно подержал ее в руках и положил в боковой карман.

Опять охватила тишина, и в этой тишине было что-то свое, полное тайны.

— Завтра пришлю за вещами, — произнес он вслух, чтобы нарушить эту тишину и тайну.

Но с той самой минуты, как он взял игрушку, не покидали мысли об умершей девочке, и над ними вилась сказка о душе, девять дней пребывающей в доме земного бытия.

Чтобы побороть эту нервность, он опять стал перебирать свои вещи и даже хотел запереть ящики, где у него хранились письма и бумаги. Раньше он никогда этого не делал из деликатности перед ней. Сейчас другое: ведь, он уж больше не вернется сюда.

Но едва он подошел к столу, как услышал звук отпираемой двери и в смущении оставил все как было, точно испугался, что она увидит его за таким делом.

Момент встречи выходил совсем не таким, как он представлял себе.

Стал дожидаться, когда она разденется. Казалось, дико идти со свечой в переднюю и там помогать снять пальто.

Она, удивленная присутствием кого-то в доме, может быть, меньше всего ожидавшая увидеть его, как была в пальто и шляпе, направилась в мастерскую.

Он слышал ее шаги, не женские, хотя и легкие шаги, и обернулся к двери, чтобы

встретить ее словами, которые были приготовлены раньше. Хотя уже за этими словами не было прежней глубины и искренности.

Она остановилась в дверях.

Траур, спускавшийся с ее шляпы, бросал тень на ее лицо, и без того смутно освещенное пламенем свечи. Траур придавал жуткую новизну всей ее фигуре.

В руках ее белел сверточек, и по особой упаковке он догадался, что сверточек из аптеки.

И опять мелькнула тревожная мысль: «Яд».

Она положила сверточек на стол и сняла перчатки.

Он решил быть как можно более мягким и добрым, что бы там ни было, и сказал, делая шаг к ней:

— Я вернулся. Я не мог так уйти.

Она вздохнула, скорее, простонала, и сделала к нему движение с простертыми руками, точно готова была упасть в его объятия.

Он принял это иначе и дружелюбно взял ее руку.

Стараясь проникнуть взглядом в его глаза,

она, сжимая его руку, возбужденно и порывисто заговорила:

— Я надеялась, я знала, я не могла допустить, что ты оставишь меня так.

Видно было, как она тяжело дышала, и воспаленные глаза ее как-то снизу вверх заглядывали в его лицо.

Он смутился, предчувствуя, что она может не так истолковать его возвращение.

Поспешил высказаться:

— Да, да, я был неправ. Больше того, непростительно жесток, особенно в такую минуту, когда...

Он хотел сказать: «Когда решил навсегда расстаться».

Но она не дала ему договорить.

— Не надо, не надо вспоминать. Это был кошмар, который лучше всего забыть. Я, ведь, знаю, ты добр. И, может быть, я тут виновата не меньше, чем ты. Но никогда, никогда больше не будем вспоминать об этом.

Последние слова ее сразу смяли все приготовленное ранее. Она сказала: никогда. Значит, истолковывает его приход по-своему. Хотелось прямо и резко заявить ей, что она

ошибается. Но она не давала ему вставить слово.

Как-то неестественно вдруг засуетилась, оживилась и заговорила возбужденно быстро, быстро:

— Что же это я в пальто? Помоги мне раздеться. У меня дрожат пальцы, и я не могу расстегнуть пуговиц.

Он машинально повиновался и помог ей снять пальто, в то время, как она вынимала шпильки из шляпы и снимала ее вместе с трауром, продолжая безостановочно говорить:

— Я так исстрадалась за эти страшные дни и ночи. Боялась, что сойду с ума.

Заметив его нетерпеливый жест, она подняла руки, силясь улыбнуться.

— Прости, прости, не буду. Это было безумие с моей стороны. Я была не в себе, когда пошла в аптеку, вот за этим. Я должна сознаться, ты простишь: безумие и только.

Ему было больно слышать подтверждение того, что мерещилось. Как теперь рассеять ее заблуждение?

«Надо осторожно, надо осторожно», — го-

ворил он сам себе, но не знал, как приступить.

Она, все суетясь, поправляя волосы и платье и как-то жалко кивая головой, продолжала заискивающе:

— Правда, лучше не вспоминать. Разве я могла на самом деле так поступить?

Она поправляла волосы и платье и в то же время металась по комнате, как бы стараясь убедиться, что все на своем месте. Но при последних словах, вдруг побледнев, остановилась, сама пораженная безумием задуманного. И обратилась к нему уже трогательно, почти добродушно:

— Вот странно, мечусь по комнате и забываю, зачем. А просто мне нужны спички, зажечь лампу. Хочется, чтобы было светлее.

И она улыбнулась.

— Дай-ка мне спички.

И он, ужасаясь и этим словам, и этой улыбке, достал из кармана спички и подал ей. Каждая такая мелочь опутывала его решение новыми и новыми нитями. Если он сейчас не разорвет их сразу, дальше будет еще труднее.

— Послушай, — приступил он, стараясь

придал своему голосу мягкость и спокойствие, а, главное, притворяясь далеким от понимания ее обнадеживающих мыслей. — Я знал, что ты поймешь меня и сумеешь встать выше обычных чувств.

Он говорил это все в то время, как она, зажигая лампу, стояла к нему спиной. Но, едва она при последних словах обернулась, он смешался.

Испуг сверкнул в ее глазах, и она перебила его вздрогнувшим голосом:

— Ах, да не надо же, не надо! Не пугай меня!

Зажженная ею лампа разгоралась и начала коптеть. Но было уже не до того, чтобы поправить. Не хватало более сил таить, жалеть и колебаться.

Он почти крикнул:

— Нет, я не могу так. Я пришел тебе сказать, что решение мое остается неизменным, но я хотел бы надеяться, что мы расстанемся друзьями.

Она широко открыла на него глаза. Ахнула и опустилась на стул.

Лампа продолжала коптеть, и уже непри-

ятно раздражающе пахло копотью.

Он подошел поправить огонь. Аптечный сверточек бросился в глаза, и он едва удержался, чтобы не протянуть руку и не спрятать его.

Но она подозрительно обернулась, и он отошел. Заговорил примирительно и кротко:

— Эти три года, которые мы прожили вместе, в них было много дурного и я беру за все это вину на себя. Но было и хорошее. Если бы жива была девочка, я бы, наверное, не оставил тебя, хотя мне было бы тяжело отказаться от этой девушки, которую я так любил.

Губы ее вздрогнули и некрасиво искривились.

Он поспешил:

— Но это вовсе не значит, что, расставаясь с тобою, я совсем от тебя отрекаюсь. Я буду тебе помогать, как и раньше. С этой стороны все останется по-прежнему.

Он, краснея, договаривал последние слова; ее глаза смотрели на него с страшной неподвижностью. Казалось, каждым своим словом он углублял их, и они становились похожими на бездны, куда звуки слов падали, как земля



в могилу.

— Не смотри на меня так! — вскрикнул он почти умоляюще, чувствуя непонятную тревогу от этих глаз. — Если ты сама любишь, ты понимаешь, что значит любовь! Я не могу оставить ее, хотя бы сердце мое разрывалось от жалости к тебе.

Замолчал.

Молчала и она. И он видел, как она собирала все свои силы. У него на глазах она творила эту страшную работу, чтобы начать борьбу.

Вот поправила как-то машинально волосы и запекшимися губами прошептала:

— Так, так!

Передохнула глубоко и тяжело. Зачем-то хотела встать и опять опустилась.

— Да, да, я чувствовала, что это так!

Подняла на него глаза и с усилием выдавила из груди:

— Но не может быть. Ты не захочешь убить меня. Я не могу без тебя жить. Слышишь, не могу! Моя любовь, ты знаешь, перенесла большие испытания. И перенесет еще больше, только останься со мной.

Он схватился руками за голову:

— Не могу, не могу!..

Тогда прямо сказала то, чего не говорила никогда:

— Ты, может быть, не понял меня. Я, ты, ведь, знаешь, терпела все твои измены, и, теперь я примирюсь с тем, что ты будешь любить ее, только не покидай меня...

Но он перебил:

— Нет, нет, это невозможно!

— Никогда, ни словом, ни взглядом, ни намеком...

— Говорю тебе, невозможно!

Она закрыла лицо руками, как будто он бил ее этими словами, но не остановилась в самоунижении.

— Ну, хорошо... Ну, тогда... — голос ее упал. — Тогда пусть... Я уж не знаю... Тогда пусть она живет здесь вот... здесь, в этой комнате, где умерла твоя... наша девочка... Я никогда не выдам себя... своей боли...

Он был не в силах побороть чувство, в котором сказалось больше отвращения, чем жалости.

— Стыдись, что ты говоришь! У тебя девоч-

ки, подростки...

И, чтобы смягчить укоризненную резкость этих слов, поспешил добавить:

— Они помогут тебе примириться с этим... с этой неизбежностью...

— Нет! — с отчаянием воскликнула она. — Нет!

И опять в голосе ее зазвучала униженная и страстная мольба:

— Ну, хочешь... хочешь, переговорю с ней? Она поймет, что это не нарушит ее счастья. А я... я буду рабой. Ведь, я необходима тебе. Ведь, ты нуждаешься в заботах, как ребенок, а она сама дитя.

— Нет, нет! — крикнул он, чувствуя, как его начинает охватывать раздражение.

У нее уже иссякли слова. Тогда она бросилась перед ним на колени и, обхватив его ноги, захлестнула, как петлей.

Это переполнило его терпение.

— Довольно! Ты заставляешь меня раскаиваться в том, что я вернулся!

Она медленно поднялась, растрепанная, с искаженным от страдания и оскорбления лицом.

— Вот как! Ты вернулся! Вернулся от этой рыжей куклы, чтобы еще более унижить меня!..

Он видел, что опять начинается та же кошмарная сцена, и попытался сдержать себя и обуздать ее.

— Ты ругаешь эту девушку, а, между тем, это она послала меня к тебе, чтобы я выпросил у тебя прощение за обиду, которую тебе нанес.

Но эти слова, которыми он думал смягчить ее, вызвали новый взрыв бешенства. Она вскочила и произнесла, закинув вызывающе голову:

— Передай ей, что я плюю на ее милость. Да, да, плюю! Вот так!..

И она в самом деле плюнула, как будто та стояла перед ней.

Он с гримасой отвращения отвернулся от нее и пошел прочь.

Какое-то подозрительное движение у стола заставило его инстинктивно вздрогнуть, но сердце его было так полно злобы к ней, что, если бы она в самом деле вздумала отравиться, он и тогда, пожалуй, не повернулся

бы к ней.

Теперь же, лишь встряхнув головой, он подумал:

— Комедия!

И уж был за дверью, когда услышал ее голос. Этот голос был ужасен. Так зовут только утопающие.

Он остановился, не оборачиваясь. Она почти бежала за ним в переднюю.

И вдруг его охватил непобедимый ужас.

Он быстро обернулся назад и в тот же миг взвизгнул от нестерпимой боли.

Огонь хлынул ему в лицо и опалил не только глаза, но и разум.

Что случилось?

Хотел открыть глаза и не мог.

И в то время, как руки его, инстинктивно схватившись за лицо, загорелись тем же самым огнем, он понял все.

Вырвался неистовый вопль:

— Глаза мои!.. Глаза!..

И, теряя сознание от боли и безнадежности, он стал взмахивать руками, ища, за что ухватиться, чтобы не упасть.

И сквозь это помутневшее сознание про-

рывались и падали в какую-то огненную бездну как будто из-под земли вылетающие ее стенания:

— Саша!.. Саша!..

## XVIII

Лара одна из первых узнала об этой неопи-  
суемой беде в тот же вечер и узнала таким  
странным, даже страшным образом, что мож-  
но было сойти с ума.

Случилось так, что через час, а, может  
быть, через два после ухода Стрельникова,  
пришел Дружинин. Первой мыслью ее было  
не видеться с ним на этот раз. Но тут же быст-  
ро передумала: наоборот, именно теперь она  
скажет ему, чтобы он не надеялся, и что нын-  
че судьба ее решена бесповоротно.

Это вывело ее из того полуоцепенения, в  
котором она находилась все это время, не за-  
жигая огня, зябко забившись в уголок дивана,  
грезя в сумерках, постепенно наплывавших и  
переходивших во мрак, о Стрельникове.

Был даже момент, когда она как будто за-  
былась, оставаясь, однако, душой с ним, пред-  
ставляя то, что, по ее предположению, долж-  
но было произойти у него дома с той женщи-  
ной, которую она жалела.

И вот именно в эту минуту полузабытья ей  
померещилось что-то, чего она никак не мог-

ла ясно припомнить: как будто слышались чьи-то тяжелые шаги, которые приближались и грозили раздавить. И всего ужаснее, что никого при этом не было видно, а шаги вот тут, около, точно медленно и грузно подходит само горе. И было в этом неясном что-то до такой степени жуткое, что она поспешила зажечь огонь.

Как раз тут-то и явился Дружинин. Он показался ей необычно красивым и кротким, но как будто не настоящим. Настоящий был один только тот, только Стрельников, и это теперь так четко и сильно определилось, что уж не было ни малейшего сомнения в любви.

— Вот, — здороваясь с ним, начала она с неловкой поспешностью, как бы предупреждая все, что он мог сказать ей и на этот раз. — Вот теперь все уже кончено.

— Что кончено? — спросил он, бледнея и прямо глядя на нее.

Виновато улыбаясь, она с некоторой досадой пожалала плечами на его недогадливость:

— Ах, ну, как же вы не понимаете!

Он опустил глаза и сел на стул, кусая губы, почти не дыша.



Все же, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения, она торопилась высказаться.

— Я ненадолго, только на минуту приняла вас, чтобы сказать все это. Он, видите ли, должен сейчас вернуться оттуда. Но мне больно, что все это должно пройти через чье-то страдание... Что делать!

Пристально на него посмотрела, ища какого-нибудь отклика, но лицо его оставалось бледным и замкнутым. Она продолжала, вздохнув:

— Что делать! Но уж если кто-то должен здесь страдать, пусть хоть не будет вражды.

— У меня нет вражды, — с видимым усилием выговорил он.

— У вас! — вырвалось у нее удивление. — Я не о вас. — Но тут смутило и встревожило новое. — Я хочу сказать: вас... вы... — она покраснела. — Вы должны быть выше таких чувств. У вас не может быть вражды ни к нему, ни ко мне.

Дружинин поднялся с изменившимся лицом. От красоты и кротости не осталось и следа. Наоборот, лицо стало злым и неприятным.

Он ответил резко и с ударением:

— Напрасно вы думаете. Я неправду сказал, что у меня нет вражды. Неправду. Не только вражда, но и ненависть, и злоба, и даже зависть к нему.

Так вот оно что. А как же могло быть иначе? Чувствовалось, что надо сказать на это что-то значительное, но она наивно пролепетала, глядя и не глядя на него:

— Я не знала... Тогда лучше вам уйти.

Она остановилась. Он молчал. Она тихо добавила:

— Потому что он может сейчас вернуться.

Губы его исказились неестественно прерзительной гримасой. Она заметила, как челюсти его злобно шевельнулись, прежде, чем он начал говорить.

— Почему же вы думаете, что я должен отсюда бежать? — И с нарастающим озлоблением он продолжал: — За кого вы боитесь, за себя, за меня, или за него? Почему вы думаете, что я должен уступить ему это так, без борьбы? Ему! — с ненавистью выкрикнул он, готовый разразиться самыми беспощадными и крайними обвинениями.

А перед ней заметались ужасы, о которых

она слышала, читала. Представлялось убийство, дуэль, все то, что связано с злыми, зверскими чувствами, и она недоумело и испуганно открытыми глазами смотрела в его угрожающе вспыхнувшие глаза.

Если бы она в эту минуту встретила в его взгляде что-нибудь, кроме ревнивой злобы, так бы и осталась в этом состоянии, но тут в ней вдруг вспыхнула гордость.

Все еще тихо, но уже с обидой в тоне, она сказала:

— Что значит уступить? Кого уступить?

— Вас! — резко ответил он.

Она покачала головой и с расстановкой медленно выговорила:

— Я не вещь, чтобы меня можно было уступить и не уступать.

— Да, но он смотрит на вас, как на вещь. Не более, как на вещь, — повторил он с каким-то злорадным торжеством. — Так будет и с вами, — точно вонзал он в нее эти острые уколы. — Уж не думаете ли вы, что вы исключение из числа тех, кого он оставлял, запятнав и часто едва ли помня имя!

Он говорил все эти пошлые клеветниче-

ские слова, сам глубоко чувствуя их пошлость и смрад. Так мог говорить кто угодно, каждый обыватель-фарисей, и самому было почти до болезненности стыдно их; но, чем становилось стыднее, тем упорнее эти слова шли на язык и срывались предательские и невозвратимые. Сам он уже остановиться не мог, и желал, чтобы она остановила его, как тогда, в первый раз, каким-нибудь словом, но непременно кротким и добрым: напоминанием, что он не такой, что сейчас им владел какой-то дьявол, всегда сопутствующий той смуте, которую вызывает любовь, делающая ненадолго сомнительно счастливыми одних и вызывая зависть, превращая в зверей других.

Лицо его оставалось в тени, так как всей своей фигурой он заслонял свет небольшой лампочки на столе; и, может быть, потому, что лицо его оставалось в тени, и она не могла видеть его выражения, казалось, что говорит не он, не Дружинин, а какой-то другой, мрачно пророчествующий человек. На один миг оборвалась тонкая ниточка, связывающая ее с действительностью, вспомнился сон,

и стало холодно и жутко. Не с этим ли пророчеством сливался ее короткий мрачный бред?

Но вот он сделал движение, осветилось его лицо, и она сказала себе: «Нет, это не то».

Дружинин стал ходить взад и вперед по комнате, умышленно держась вдали от нее, и теперь показался ей тюремщиком, стерегущим свою жертву.

А он как будто на время забыл о ней, и каждый раз, как лицо его при поворотах освещалось, она замечала презрительную, почти брезгливую гримасу, вздрагивающую в правом уголке его губ.

Презрение к себе? Да. Равно и к себе, и к тому, и даже к ней. Из-за чего? Он искоса взглянул на нее. Прежде всего бросились в глаза тяжелые бронзовые волосы и грустные, задумчивые глаза, устремленные мимо него.

Опять стало чувственно душно.

«Неужели это? И только это? — с отвращением спросил он сам себя. И сразу почувствовал какую-то непонятную тоску. — Значит, вся эта вражда, борьба, низость из-за куска человеческого мяса?»

Не может быть!

Он вздрогнул и, круто повернувшись, остановился у стола, прямо устремив взгляд на свет лампы.

Когда он отвернулся, она обратила в его сторону свои глаза. Изысканным черным силуэтом вычерчивалась вся его небольшая, стройная фигура. Белый воротник тонкой плоской определял напряженную от склонившейся головы шею. И в этом упорном наклоне головы, в сильных тонких линиях шеи было какое-то особенное выражение, почти доступное проникновению мысли.

Она не могла охватить это выражение сознательно; но оно внушало ей безотчетное уважение к нему и почтение к силе, которая не имела ничего общего с теми словами, что она только слышала от него. И самой хотелось вслух задать вопрос: зачем все это?

Но он неожиданно повернулся к ней, и она вздрогнула. И, взглянув прямо в глаза его, обрадовалась: лицо его стало почти таким же, как в первую минуту прихода. Только к этому прибавилось что-то похожее не то на скорбь, не то на горечь.

И, как будто отвечая в тон ее первой прось-

бы, он ровным голосом сказал:

— Я сейчас уйду. И, может быть, уеду далеко, надолго, чтобы не видеть вас.

Так говорил, как будто раньше не было ни угроз с его стороны, ни ревнивого озлобления.

— Но вот что я вам хочу сказать, последнее: раз так случилось, может быть, вы ему, действительно, нужнее, чем мне, и так должно быть.

Задумался, продолжал тем же спокойным тоном:

— Но, если...

Остановился, прошелся, опять постоял у лампы и не поворачиваясь сказал:

— Но, если когда-нибудь он бросит вас, и даже если у вас будет от него ребенок и вы вспомните меня... — Он прервал, обдумывая не решение свое, а то, как деликатнее высказать: — Тогда меня позовите...

И, хотя голос его был совершенно спокойный и ровный, всколыхнулось сердце у ней, и слезы полились из глаз.

И вот в эту-то самую минуту в передней слышались чьи-то тяжелые шаги. Она чуть

не вскрикнула: это были те самые шаги, которые померещились ей в дремоте. Она как-то дернулась с дивана с глазами, еще полными слез, но потемневшими от испуга.

Ее непонятный ужас на миг передался и ему. Он тут же взял себя в руки.

В дверях стоял высокий костлявый мужик. И ни она, ни Дружинин не узнали в нем дворника того дома, где жил Стрельников.

— Кто такой? Что надо?

Дворник протянул к ней записку. Но та не решалась ее взять, и Дружинин заметил, что белевший в протянутой руке клочок бумаги был незапечатан и измят; это обстоятельство усилило его тревогу.

Досадуя на себя за свою нервность, он взял из рук дворника записку и подошел с ней к девушке. Но та сжалась в углу, и он заметил, как она дрожала и все теми же испуганными глазами глядела на этот измятый клочок бумаги.

Дворник стоял в дверях. Дружинин сунул руку в карман, достал мелочь и, отпуская дворника, спросил:

— От кого?



Прежде, чем дворник успел пробормотать ответ, он уже знал, от кого и, когда тот ушел, нерешительно вертел записку в руках, предчувствуя, что в этой записке мало доброго.

Еще не вполне понимая, откуда у нее этот страх, он опять подал ей записку:

— Прочтите и успокойтесь. Я уверен, что все ваши опасения сейчас же рассеются.

Она, было, взяла записку, даже попыталась встать к огню, чтобы прочесть ее, но не могла совладать с собою.

— Это что-нибудь ужасное. Почему записка? Почему нет его?

В Дружинине опять шевельнулось ревнивое, недоброжелательное чувство, но он поборол его:

— Мало ли что бывает.

Записка вздрогнула в ее руке. Он уже с нетерпеливой досадой прибавил:

— Я вовсе не хочу сказать ничего такого. Читайте и успокойтесь.

Его самого мучило любопытство.

Она раскрыла записку. Увидела незнакомый почерк.

— Это не он писал.

И рука опять опустилась.

С усилием, бледнея и стыдясь своей слабости, она почти умоляюще обратилась к Дружинину:

— Я не могу. Прошу, прочтите вы.

— Но, может быть... — нерешительно начал он.

Она нервно перебила его:

— Читайте, читайте! — И, как бы оправдываясь и извиняясь, прибавила:

— Я, должно быть, больна. — Заторопила: — Читайте.

Он подошел к лампе, раскрыл письмо.

Карандашом, с сильными нажимами, были написаны несколько строк, которые он охватил сразу.

«Умоляю, поспешите. Он обезображен. Без глаз».

Подписи не было.

И потому, что Дружинин не поворачивался и не произносил вслух прочитанных слов, она убедилась, что случилось страшное, непоправимое.

Не успел Дружинин опомниться, как записка очутилась в ее руках.

В первое мгновение она потерялась: слова — «обезображен», «без глаз», не находили своего настоящего освещения.

Но Дружинину было все ясно. Сам понимая ненужность своих слов, он, однако же, пытался что-то говорить:

— Все, может быть, не так страшно. Историческая выходка, выдумка. Угроза.

— Нет, это свершилось. Месть судьбы. Незаслуженная казнь.

— Да, нет же. Так нельзя... Я уверен...

Она молча заметалась, не слушая его. Схватила платок, но бросила, попалась шапочка у зеркала, быстро надела ее и привычно взглянула в зеркало. Но вдруг содрогнулась, как будто там увидела не себя, а эти слова: «обезображен», «без глаз». Тут только застонала, схватилась за голову и бросилась к двери.

Дружинин последовал за нею, поспешая за ее торопливыми шагами, бестолково сбиваясь в своей походке.

В темном, обезлиставшем саду, через который они, казалось, особенно долго проходили, несомненное представилось еще более чудовищным. Случилась беда, и надо было спе-

шить на помощь товарищу. Как случилось, это было для него совершенно ясно. И потому его воображению ярко представилось обожженное лицо с выжженными глазами, до того ярко, что в горле ощутилась тошнота. Они вступили в аллею, окаймленную хвоей, и от этого смолистого, въедчивого запаха ощущение тошноты усилилось.

На повороте он как-то неловко задел ее и совершенно машинально сказал:

— Извините.

Отступил. И в этой усилившейся среди хвои осенней темноте показалось, что отстал далеко от нее. Прибавил шаг и опять чуть-чуть не задел ее. Взглянул сбоку в ее лицо, но черты намечались смутно. Захотелось разглядеть их, убедиться, что они остались те же.

Что будет дальше?

Этот вопрос сам собой лез в голову, и с ним проникало в мозг что-то другое.

Среди черного вихря страха, тревоги, жалости, смятения скользким, извивающимся гадом в сознание проползало скорее желание, чем мысль, что это трагическое обстоятельство может все изменить в его пользу.

И сердце его при этом трепетало от отвращения к себе.

Ему вдруг показалось, что она почувствовала этого гада в нем, и оттого шаги ее стали еще быстрее, как будто она хотела уйти от него.

Он невольно сказал:

— Ларочка.

Она не отозвалась.

Он повторил:

— Ларочка, — не зная сам, не видя того, что последует за этим словом, повторил ею просто так, как будто в нем заключалась спасительная молитва.

Но она точно не слышала своего имени, вся ушедшая в темную пропасть неизбежности.

# XIX

Несмотря на большие окна, в это ненастное утро зала суда казалась полутемной. Впрочем, вероятно, тут был известный расчет: эти большие окна с тяжелыми темно-красными занавесями были расположены за спинами судей. Таким образом, лица судей оставались в тени и казались более внушительными и даже таинственными.

Весь свет, очевидно, предназначался для подсудимого и свидетелей.

На столе, за которым сидели судьи, слабо поблескивала грань зеркала, но бронзовый орел на зеркале выделялся загадочным силуэтом со своими широкими, полуопущенными крыльями.

На стене, противоположной окнам, в выпуклом стекле часов утренний свет трепетал довольно сильным бликом, и оттого часы казались почти живым существом с своими двумя черными стрелками, равнодушно отмечающими короткие мгновения надежд и отчаяния.

Все были на своих местах, и суд, и присяж-

ные.

Публика сплошным пятном чернела на скамьях, и, казалось, это она, главным образом, поглощает свет напряженно-жадными глазами.

Эти глаза перебегали с подсудимой на потерпевшего, которые сидели друг против друга.

Многие еще так недавно знали его молодым, красивым известным художником. Теперь он сидел слепой, с выжженными глазами, зияние которых было скрыто синими стеклами очков, с лицом, превращенным в уродливо скомканную маску.

Здесь же присутствовали все его товарищи-художники. Потрясенные, подавленные, все еще не освоившиеся с тем злодеянием, которое было гнуснее и страшнее убийства.

Некоторые из них должны были выступить в качестве свидетелей, и свидетели находились в соседней комнате.

Публике было известно, что мать потерпевшего, приехавшая из провинции, хотела быть в зале суда, но сын умолил ее остаться дома, чтобы не подвергать себя новым без-

мерным страданиям.

Присутствие матери в суде могло помешать тому, чего он хотел. Предвиделось, что эта женщина, способная совершить такое преступление, не остановится и на суде перед тем, чтобы облить его таким же жгучим ядом обвинений.

Только ради того, чтобы ответить на эти обвинения, со стороны потерпевшего был предъявлен гражданский иск, дававший ему возможность высказать то, что он хотел. В качестве его поверенного выступал Дружинин.

Председатель, толстый человек, с одутловатым сонным лицом, задает обычные вопросы подсудимой: имя, отчество, звание... На вопрос о годах она замялась.

— Вам тридцать шесть лет?

Подсудимая слегка привстала и ответила с запинкой:

— Нет... тридцать девять.

В публике ахнули. Глаза сами собой обернулись к потерпевшему.

Лицо его было обращено к судьям, и при виде молодой сильной фигуры и твердо очерченного волосатого затылка на мгновение за-



бывался ужас, внушаемый изуродованным лицом. Не верилось, не хотелось верить в этот ужас.

В публике послышался шепот и вздохи!

— И что он нашел в ней!

— Она много старше его.

— И совсем некрасива.

— Даже не интересна.

Лицо подсудимой было обращено к публике в профиль и очерчивалось резким силуэтом. Особенно некрасива была линия лба и шеи, совсем прямая и жесткая, и почему-то по этой линии ясно было видно, что эта женщина упрямая и недобрая. Хороши были только волосы, большие и сильные, туго закрученные на затылке в черный, тяжелый, как чугунок, узел, а когда она раза два обернула лицо к публике, точно ища кого-то, больше угадывались, чем различались, ее большие, темные, сосредоточенно-печальные глаза.

Она, видимо, избегала смотреть на свою жертву, но то, что она отказалась от защитника, свидетельствовало или о ее полной покорности, или о том, что она будет защищаться сама.

После проверки свидетелей, которые оказались все налицо приступили к чтению обвинительного акта.

Слушая все эти чудовищные подробности преступления, он несколько раз вздрагивал и даже как будто порывался встать.

Она же сидела прямая, неподвижная, чувствуя с каждым словом, отмечавшим явно рассчитанные подробности ее злодейства, накипающую злобу и ненависть к ней публики.

После равнодушно произнесенных слов обвинительного акта: «Плеснула ему в лицо серной кислотой и тем причинила Стрельникову увечье, лишив зрения на оба глаза», — в публике послышалось рыдание.

Все сразу обернулись и обратили внимание на девушку с золотистыми волосами, просто, бедно одетую. Почти все лицо ее было закрыто густой вуалью, но по тонким, необыкновенно красивым пальцам, чувствовалось, что и лицо ее также тонко и красиво.

Подсудимая быстро повернула к ней голову и как бы с торжеством кивнула сама себе:

«Хорошо, очень хорошо, — выразило раздраженно ее лицо. — Это как нельзя более

кстати».

Секретарь на минуту прервал свое чтение и недовольно взглянул в сторону плачущей. Но рыдания были слишком несдержанны, и это мешало чтению. Пришлось сделать паузу, пока прекратят беспорядок.

Вынужденная угроза удаления из суда заставила ее подавить рыдания. Стиснув зубы, закрывая от неестественных усилий глаза, она сжала грудь и умолкла, но плечи ее все еще подергивались.

Вот она подняла вуаль и тотчас же закрыла лицо платком.

Секретарь продолжал чтение, а она все еще не отнимала платок от глаз, и все видели, как платок этот становится влажным. Но вот руки ее отпали от лица, и открылись большие серо-зеленые глаза, полные слез; эти глаза никого не видят, ни на что не смотрят и силятся удержать слезы, которые вот-вот польются по покрасневшим щекам.

Несколько мгновений нервно подергиваются сомкнутые губы ее рта, пока глубокий, тяжелый вздох не размыкает их.

Теперь ее узнали. В публике послышался

шепот. Даже называли ее имя, не стесняясь передавали, что из-за нее вышла вся эта история.

Чей-то злой женский голос довольно громко произнес:

— Ах, разве она одна!

Называли другие женский имена тех, которые или гордились своей связью с ним, или просто не могли скрыть ее в провинциальном городе. Но, кажется, никто из них не решился сюда прийти; эта одна отважилась, не боясь срама.

Кто бы мог думать, глядя на ее полудетское лицо с серыми, сияющими, несмотря на скорбь, глазами и как-то наивно, как у детей, округленным подбородком, что у нее достаточно характера и смелости пойти на это.

Никто не хотел верить, что она была только его невестой. Одни ей удивлялись, другие осуждали, но все предчувствовали, что она явилась неспроста. Предвиделось что-то новое и совершенно неожиданное.

Он узнал голос ее во время рыданий и обернулся.

В него жадно впиваются глазами, но по

этому лицу ничего нельзя угадать, как нельзя ничего угадать под маской. Зато в его движении нельзя не заметить мучительного трепета, которого он не в силах сдержать. Его голова поднимается в каком-то тоскующем напряжении, как поднимает голову птица с обрванными крыльями, когда слышит стонящие крики своей подруги, которую никогда не увидит.

Все ждут нетерпеливо конца обвинительного акта.

Силуэт орла вырисовывается еще темнее, и это обстоятельство, кажется, как-то таинственно связано с участью обвиняемой.

Когда секретарь, наконец, опускается на свое место, председатель задает вопрос подсудимой: признает ли она себя виновной?

Она встает неестественно-прямо с побледневшим лицом и дрожащими губами. Чтобы сдержать эту дрожь, она закусывает губы, и лицо ее становится беспомощным, но вместе с тем жалким и злым.

У нее мужские брови и сухой, упрямый лоб, и, кажется, что густые черные волосы ее должны быть жесткими и неприятными на

ощупь.

Она бросает на свою соперницу острый и пронзительный взгляд.

Но та смотрит на него, только на него, и плечи ее, слабо и мягко очерченные, заметно поднимаются и опускаются от тревожного дыхания.

Он сидит, поставив локти на пюпитр, закрыв лицо руками; но взгляд ее как будто рвется проникнуть за пределы видимого и восстановить настоящие черты лица, которые она любила и которые даже сейчас не могла отделить от его волос и от всей его сильной фигуры.

Минутами ей представлялось, что вот он отнимет от лица руки, и кошмар исчезнет: она его увидит таким, каким полюбила.

Наконец, раздается срывающийся голос той, которая совершила это зверство.

— Я сознаюсь в своей вине.

Слова были произнесены негромко, но они ударили девушку, как жесткий кнут.

Он опускает руки, и она опять видит этот кошмар и едва не вскрикивает от ужаса.

— В таком случае расскажите, как было де-

ло.

Легкое движение в публике, и все замерло.

Сейчас должна подняться какая-то завеса, за которой скрываются мрачные тайны жизни. Оттого все замирают и, затаив дыхание, смотрят на обвиняемую.

Но она молчит, и в зале наступает удручающая томительность. Она как будто боится, как бы нечаянно не взглянуть на свою жертву, и стоит почти с закрытыми глазами.

Если бы не было здесь той, она могла бы сказать совсем иное: то, что она пережила и передумала этими долгими днями и ночами прежде, чем предстать перед судом. Сколько раз ей приходила в голову мысль о самоубийстве; не задумываясь, она покончила бы с собой, но у нее были дети, и была еще надежда, нет, не надежда, она не смела назвать то, что теплилось в глубине переболевшего сердца, — надеждой, — был какой-то просвет.

Но при нем неотлучно находилась та.

Опять закипело в груди, и слова, вырвавшиеся из ее пересохших губ, были, как пена, полны мути и сора:

— Я не оправдываться хочу, — произнесла

она совсем тихо. — Я только хочу, чтобы вы узнали все.

Председатель, плохо расслышавший ее слова, вытянул голову и правой рукой оттопырил большое желтое ухо.

Прокурор также подался вперед, и все судьи и присяжные насторожились.

И пока она говорила о своей жизни с Стрельниковым с самого начала, с того самого дня и часа, как он пришел нанимать у нее помещение и согласился, почти не торгуясь, на назначенную плату, и как был ласков и добр к ее детям и тем расположил ее к себе, и как она сблизилась с ним, одинокая, вечно занятая своим тяжелым трудом — общее враждебное отношение к ней несколько смягчилось.

Но вот она прибавила:

— Я видела, что он — человек слабый, легкомысленный, и думала, что эта близость поможет мне беречь его от вредных увлечений вином и женщинами...

И опять усилилось недоброжелательство и появились язвительные усмешки.

— Мне казалось, что мои заботы о нем все



больше и больше располагают его ко мне, и от этого мое собственное чувство становилось все глубже и крепче. Я все-таки сознавала, что эта связь может оказаться непрочной, потому что я много старше его; но к тому времени, как родилась наша девочка, привязанность моя обратилась в настоящую любовь. А когда я увидела, что он также полюбил эту девочку, я стала надеяться на счастье.

Голос ее осекся.

Но это не вызвало сочувствия, наоборот, явилось опасение, что она может расплакаться и тем оттянет то самое интересное и страшное, что всех привело сюда. И без того она рассказывала слишком пространно, сообщая мелочи своих забот о нем и как он приходил иногда нетрезвый и был груб с ней и как она нередко находила у него записки, обличавшая его неверность.

При воспоминании о том, как рушились все эти надежды, раздражение и горечь прилипли к сердцу и помогли подавить слезы. Она с болью и ядом заговорила об его изменах, однако, с каким-то рассчитанным умыслом виня в этих изменах не столько его, сколько сре-

ду, в которой он вращался.

— Но я все терпела, все прощала ему, — как-то неприятно выделяя свое великодушие, воскликнула она и с трудом удержалась, чтобы не обернуться в его сторону. Только тут поднялись ее ресницы и раскрылись большие черные глаза. И те, кто успели заглянуть в эти глаза, ясно увидели в них, что не великодушие и кротость заставляли ее переносить его измены и пороки.

— Пускай, — думала я, — лишь бы он оставался с нами, как отец нашей девочки. И он бы наверное остался, — почти выкрикнула она. — Потому что жалел девочку и привязался к ней, потому что сам он добрый, и среди тех, с кем он мне изменял, не нашлось ни одной такой жестокой и, может быть, такой ловкой, как эта последняя! — выкрикнула она сухим, резким голосом, который сразу потускнел и стал глух, когда она добавила: — Из-за которой все это и произошло.

Она опустила голову, ни на кого не глядя, но все невольно обернулись в сторону девушки с золотистыми волосами.

Щеки ее пылали и глаза с испугом и изум-

лением были обращены на говорившую.

Эти слова обожгли сердце Стрельникова, точно она снова плеснула тем же огнем и попала ему прямо в сердце. Он быстро поднялся и готов был крикнуть, но сидевший рядом с ним Дружинин положил ему руку на плечо, и тот мучительно повел головой и сел покорно, как ребенок.

Дружинин с презрением взглянул на подсудимую.

Она все это видела, и желчь еще сильнее влилась в ее слова.

Она стала рассказывать все о последних днях, все не щадя ни его, ни себя, ни ту, которая сидела сейчас помертвевшая, с расширенными от ужаса глазами. Но в том, что девушка переживала, не было ни ненависти, ни злобы, — были только стыд, растерянность и испуг перед человеческой ненавистью и злобой.

Все, что та теперь рассказывала, было ей известно, все это рассказал ей он в тот прекрасный, страдальческий и так трагически-мрачно завершившийся вечер. Она слышала от него все эти убийственные, почти

непостижимый для ее целомудрия подробности, которые он с мукой и покаянным ужасом обнажал перед ней.

Но за это признание она полюбила его беззаветно и навсегда. Каждое слово его, когда он говорил о том, о чем она слышит сейчас, падало из его сердца каплями крови; теперь из тех искривленных злобой губ слова сочатся, как гной. И все же, где-то оставалась жалость к ней: ведь надо быть нечеловечески несчастной и бесконечно отчаявшейся, чтобы говорить так.

Но та меньше всего думала о себе.

С безудержной страстностью и раздражением, все повышая голос, в котором горела ее мрачная сила и озлобление, она говорила:

— И вот, когда он опять побежал к ней, и она опять приняла его после того, как он надругался над моим телом и душой, я решила ей отомстить. Да, как перед Богом, я открываюсь вам, что это мщение я готовила не для него, а для нее.

Кто-то простонал.

Девушка в порыве непобедимого ужаса закрыла лицо руками.

В публике пробежал шепот. Даже среди судей произошло тревожное движение.

Она продолжала, пренебрегая всем этим:

— Но когда он опять пришел от нее, чтобы плюнуть в мою душу, которая готова была снова простить ему все, я обезумела — и то, что предназначалось ей, плеснула в его глаза.

У Стрельникова вырвался стон, голова у него упала на руки, и он зарыдал.

Она вздрогнула от этих рыданий, но обернуться к нему, взглянуть на него не хватило сил. И, подняв взгляд свой на судей, как бы спрашивая, что еще требуется от нее, и, не встретив на этот безмолвный вопрос ответа, она опустила ресницы и нерешительно села.

Председатель суда, которому досадны были дела, не подпадающие под определенный параграф закона, повел своим ноздреватым носом и вяло задал подсудимой вопрос:

— Предполагали ли вы, намереваясь, по вашему признанию, совершить одно преступление и совершая другое, что отношения между пострадавшим и упомянутой вами особой выходили за пределы отношений жениха к невесте?

Подсудимая привсталала, опираясь на перила согнутыми пальцами, и усталым голосом ответила полупрезрительно:

— Кто их знает? Должно быть, она была умнее других и оттого, наверно, требовала, чтобы раньше он оставил меня.

Стрельников снова сделал нетерпеливое движение, но председатель уже задавал другой вопрос:

— Не говорил ли вам пострадавший, что он намерен жениться на той особе?

— Нет, подобного не говорил, — поспешила она ответить и даже закачала головой.

— А не давал ли он обещания жениться вам?

— Нет, ничего такого не было. И я никогда ему об этом даже не заикалась.

Председатель кивнул своей тяжелой, крупной головой и, отдувая щеки, шумно перевел дыхание.

По ленивому знаку его руки подсудимая, все время прямо глядевшая в его мутные, точно задымленные глаза, уже хотела сесть, как Дружинин, через председателя, остановил ее вопросом:

— А скажите, пожалуйста, говорил ли вам хоть когда-нибудь Стрельников, что он любит вас?

Она замялась и, смущаясь, даже немного покраснев, ответила, не глядя на него:

— Нет, так прямо не говорил, но в начале было и с его стороны похоже на любовь.

— Простите, всегда ли ваши отношения с ним были тяжелы и горестны, или у вас есть что вспомнить и добрым чувством?

Подбородок подсудимой задрожал.

Дружинин, боясь, что она разрыдается, поспешил деликатно сказать:

— Впрочем, вы последнее признали. Еще один вопрос: не приходилось ли вам сталкиваться с теми женщинами, с которыми, по вашим словам, он вам изменял? Слышать от них, или хотя бы стороной, претензии на него?

Она, точно изумляясь подобным, ненужным, по ее мнению, вопросам, повела плечами.

— Не приходилось.

— Больше ничего.

Дружинин сел.

Она также хотела сесть, но в таком же порядке раздался желчный вопрос прокурора. Больше всего она боялась именно этого худого, белесого человека, с длинным подбородком, жидкими усиками над несколько ущербленной, неестественно тонкой верхней губой.

Насколько безразличными ей казались вопросы Дружинина, настолько здесь она по звериному насторожилась, не столько из боязни кары, сколько из страха унижения.

— Скажите, обвиняемая, — как-то остро вытягивая нижнюю губу, прищурившись обратился к ней прокурор, — какими путями вы дознавались об изменах господина Стрельникова? Сам он сознавался, что любит другую, как в данном случае, или...

«Вот, вот, — подумала она, — начинается».

— Или какими-нибудь иными путями? — делая особенное ударение на слове: иными, закончил прокурор язвительно.

В публике послышался недоброжелательный смешок, который заставил ее вспыхнуть. Она молчала и искала ответа, который бы выручил ее.

— Итак? — ядовито улыбнулся прокурор.



Она и тут не сразу ответила.

— Это было заметно по его настроению. Каждый раз, когда он мне изменял, он становился груб и даже жесток со мною и тем давал мне повод следить за ним. Он собирался покинуть меня, и только мои мольбы удерживали его. Потом... разве можно рассказать все те мелочи, укоры, пренебрежения, которые изо дня в день отравляли душу и от которых накоплялась горечь невыносимая?

— Так, — подвел этим словам итог прокурор.

Председатель как бы очнулся и совсем уже другим голосом, напряженным и строгим, спросил, поднимая свою тяжелую голову.

— Почему же вы избрали орудием мести, предназначенным сначала для одного лица и лишь случайно обрушившимся на другого, именно серную кислоту, а не револьвер, не яд, не нож?

Вопрос этот упал на нее особенно тяжело.

— Потому... — сразу вырвалось у нее. Но она стиснула зубы и, опустив глаза, явно сказала не то, что руководило ею на самом деле. — Потому, что я не считала себя в праве

отнимать жизнь. А главное, у меня две дочери.

— Гм, — значительно и мрачно протянул председатель и, не сгибая толстой шеи, повел головой в сторону прокурора, обменялся шепотом двумя словами с судьями и, подняв свою большую, покрытую волосами, лапу, дал знак подсудимой сесть.

Общая подавленность была так велика, обстоятельства дела настолько ясны, что свидетельские показания вряд ли могли внести что-нибудь новое.

И когда председатель обратился к сторонам и присяжным: желают ли они, чтобы были допрошены свидетели, те ответили отрицательно.

Тогда и суд постановил не допрашивать свидетелей, ограничившись лишь выслушанием эксперта. Эксперт, маленький старичок-поляк с большими усами, семенящей походкой подошел к Стрельникову и, вставляя чуть не после каждого слова частицу — то — и деликатно жестикулируя, обратился к нему:

— Будьте любезны-то, откройте-то ваши глаза-то.

Стрельников снял на минуту большие темные очки, и все ахнули, увидев зияния глазных впадин.

В этом обезображенном куске мяса, вместо лица без глаз, не оставалось почти ничего человеческого. Эксперт произнес свое заключение о потере зрения и удалился.

Тогда опять вяло прозвучал голос председателя:

— Потерпевший, расскажите, что вы знаете по этому делу.

И вдруг раздался молодой, задушевный, полный печальной дрожи голос, и было почти невероятно, что этот голос исходит от него.

У публики и у присяжных жадно вытянулись головы и широко открылись глаза, как будто все хотели не только расслышать, но и рассмотреть слова, которые он говорит, потому что то, что освещало слова, — глаза, у него отсутствовали, так же, как и выражение лица.

— Вы видите, что она со мной сделала. — Он помолчал и надел очки. — Но у меня есть одно утешение, которое явилось мне сейчас:

что это предназначалось не мне и пострадала не та, которой это предназначалось, а я.

И опять послышалось знакомое рыдание.

И у многих из публики появились слезы на глазах.

Это рыдание лишило его на минуту возможности продолжать.

Наконец, голос его с надрывом покрыл сдавленный плач:

— Но если уж наказание суждено было мне, лучше бы она меня убила!

Председатель объявил перерыв, и в зале стало суетливо и шумно. Все задвигалось, заговорило, заволновалось.

Но Ларочка, несмотря на то, что на нее было обращено внимание многих, оставалась на своем месте.

Тогда художники двинулись к ней гурьбой и, не без умысла окружив ее, отделили таким образом от назойливого любопытства. Все, что до этого таилось в зале суда, было для них покуда тайной, но никому из них не пришло в голову спрашивать ее о чем-нибудь, и в том, с какой деликатной почтительностью они поздоровались с ней, публика нашла под-

тверждение создавшемся после вопросов прокурора благоприятному впечатлению о ней и ее роли в этом мрачном деле.

Было не более трех часов дня, когда снова вышел суд.

Это появление теперь было еще более торжественно и внушительно, чем в первый раз. Теперь все за судейским столом как бы объединилось одним настроением, которое отражалось не только на лицах судей, но и на всех предметах, символически связанных с ними.

И вот, когда все затихло, председатель наклонил голову в сторону прокурора и объявил:

— Господин прокурор, вам принадлежит слово.

Прокурор, прежде чем встать, качнулся на месте, затем поднялся и сделал жест правой рукою, чтобы поправить пенсне, но так как пенсне он не надел, то, поднесши два пальца к переносице, подержался за нее и, вскинув голову, начал:

— Господа судьи и господа присяжные заседатели! Есть преступления, увы, свойственный в более или менее одинаковой степени лицам различных общественных рангов и

различного развития.

Косны и темны глубины человеческой природы, и ни культура, ни религия, часто не могут вытравить из нее преступных свойств, заставляющих человека хвататься за оружие, запускать свою корыстную руку в чужую сокровищницу. Я не стану вам называть эти преступления, да это и не имеет прямого отношения к нашему делу. Замечу только, что, чем культурнее личность, тем обыкновенно тоньше орудия и средства ее преступления, хотя сущность остается всегда одна и та же.

Закон, стоящий на страже общественной совести и порядка, карает такого преступника сообразно с установленной им буквой и, не входя в мотивы преступления, призывает на помощь букве общественную совесть, представляемая которой на этот раз являетесь вы, господа присяжные заседатели.

Но случаются и такие преступления, которые трудно подвести и под букву закона, еще труднее взвесить на весах совести, так как и закон и совесть, господа присяжные заседатели, подчинены мерному, хотя и медленному, ходу духовного развития. Я говорю о преступ-

лениях, которые являются пережитками и ставят в тупик самих судей.

Что бы вы сказали, господа присяжные заседатели, если бы вам пришлось судить кровожадного людоеда? Прежде всего, вы не поверили бы своим глазам, а затем, когда вам представили бы доказательства, вы, несомненно, признали бы такое деяние болезненным. Однако, господа присяжные заседатели, вам все же было бы известно, что где-то в варварских странах, в глухих углах мира, есть дикари, у которых это явление считается естественным. И когда вы после самой тщательной медицинской экспертизы удостоверитесь, что судимый вами субъект вполне нормален в своих умственных отправлениях, — с содроганием вы выговорите: виновен — и осудите его как самого гнусного и низкого убийцу.

Но, господа судьи и господа присяжные заседатели, — тут сразу голос прокурора повысился на целый тон и из строго-убедительного стал глубоко-лирическим, — как вы отнесетесь к преступлению, которое не есть убийство, но вместе с тем гораздо хуже его, несрав-



ненно ужаснее и является таким же пережитком, как средневековая пытка, пожалуй, даже еще более подлым, потому что пытка продолжалась мгновения, часы, скажем дни, а это преступление рассчитано на целые годы, мучение до самой смерти жертвы. Вы слышали этот стон безнадежности, вырвавшийся из груди пострадавшего: «Ах, лучше бы она меня убила!» Мы содрогнулись при этом стоне, и сердце наше облилось кровью за несчастного. И конечно, господа присяжные, вам представилась лишнею речь обвинителя после этого стога, когда эта речь к тому же написана такими кровавыми, такими огненными буквами на лице потерпевшего, в его незрячих теперь глазах, которыми смотрел на мир, на сияющую пред ним природу не только он сам, но те, кто любовался его картинами, те, глаза которых не так просветлены Богом, как были просветлены его глаза.

Но я не хочу бить на исключительные стороны в данном случае. Пусть жертва — самый обыкновенный человек, а не талантливый художник, — ужас и низость преступления нисколько не уменьшаются от того, как бы

мы ни освещали, как бы ни объясняли его. Это преступление, повторяю, пережиток, не менее страшный, чем пытка, не менее гнусный, чем людоедство, и при этом еще...

Тут прокурор особенно отдельно и внушительно выговорил:

— Рассчитанный, если не на безнаказанность, то, несомненно, на кару меньшую, чем полагается за отнятие жизни. Да, явно рассчитанный, утверждаю я, потому что этот расчет кроется за преступлениями почти аналогичными, приговоры над которыми, несомненно, были известны преступнице. Правда, подобные преступления совершались чаще всего лицами, стоящими на самой низкой ступени развития. Увы, не раз вводили сюда слепцов, которых делала таковыми эта огнеподобная жидкость, именуемая серной кислотой. Беспощадная рука плескала им в глаза эту огнеподобную, — прокурор с особенным смаком закрутлял это слово, — жидкость ослепляла и уродовала лица! Но эта рука принадлежала чаще всего людям, близким по развитию к дикарям, стоящим на животной ступени, и мы говорили: наш грех, что эти люди, живя в

нашем обществе, бок о бок с нами, стоят по своему развитию столь низко; их вина, таким образом, падает отчасти и на нас, потому разделим ее с ними и, покарвав, с стесненным сердцем снова дадим им возможность рано или поздно вернуться в наше общество, как будящий нашу совесть укор, как тяжелое бремя, которое мы обязаны нести до тех пор, пока сами не облегчим его светом знания и добра.

— Но вот... — прокурор метнул молнии в сторону подсудимой и опять сделал рассеянный жест рукою, как бы поправляя пенсне, так как, по близорукости, плохо видел ее, — перед вами преступница, которая стоит почти на одинаковой ступени развития с нами. Речь ее, только что выслушанная нами, обличает сильный здравый ум, отшлифованный городской культурой. Значит, эту склянку с убийственной кислотой держала не зверская лапа с острыми, хищными когтями, а рука, затянута в лайковую перчатку, и значит, не звериная дикость управляла этой заткнутой в лайковую перчатку рукой, а преступная воля, которой не место среди нас, которая должна

быть скована такими же кандалами, как рука убийцы, для коего есть определенная буква закона.

Да не подумают внимающие моим словам, что я сожалею о том, что у нас нет такой буквы закона, такую параграфа, по коему, произнося: виновна, мы наденем навсегда железные цепи на преступницу. О, нет, Боже упаси, возрадуемся, что такого закона нет и не будет, и тем самым признаем, что и такого преступления не должно и не может быть в нашем обществе, что это лишь кошмарное уродство, порожденное нынешним днем, и что не завтра, никогда, оно больше не повторится. Нет, не повторится.

Вы скажете, это не первый случай в последние дни. Да, с болью признаю я, не первый, где подобными злодеями являлись интеллигентные люди. Но, господа судьи и господа присяжные заседатели, есть же граница человеческому зверству; если вы боитесь, что эта граница ненадежна, сделайте ее более надежной. Высшей карой подчеркните эту границу на завтрашний день, резкой чертой подчеркните ее — той чертой, из-за которой не

должно быть возврата совершившему злодейство; и его не станет, уверяю вас: оно не повторится, потому что лишь ваше снисхождение может открыть кому-нибудь из подобных выродков ту щель, сквозь которую они просунут опять свою руку с этой едкой кислотой, чтобы плеснуть ее в ваше лицо, в ваши глаза, в глаза общества, не сумевшего узреть в роковой момент грозной опасности и тем устранить ее, выбить губительную склянку из этой предательской руки.

Да, господа судьи, предательской я называю эту руку, за несколько часов перед тем ласкавшую свою жертву; руку, которую с миром просил протянуть ему пострадавший, чтобы сказать свое последнее прости.

Я, господа присяжные, не стану останавливаться на личности пострадавшего, я оставляю эту, чистосердечно и прямо говорю вам, благодарную задачу его гражданскому истцу, с которым в данном случае, надеюсь, мы выступаем рука об руку. Упомяну только, что с точки зрения общепринятой морали я нисколько не оправдываю измен потерпевшего, его легкомысленного отношения к жен-

щинам, вообще, к священному чувству любви. Я говорю лишь о личности обвиняемой, для меня совершенно ясной, начиная с первого момента ее сожителства со Стрельниковым и кончая последним моментом.

Сейчас только из уст ее мы услышали признание, которого не почерпнули из следственного материала, это — что огнеподобная жидкость предназначалась не для того, на кого она была выплеснута.

— Что это такое? — спрашиваю я себя. — Не ослышался ли я? Значит, мы с вами, господа присяжные, могли стать свидетелями не этого, а другого преступления, которое не совершилось только потому, что она не успела, совершить его.

Какое преступление было бы еще горше, а главное еще более тяжким, если есть мера веса для такого преступления? Горшим и тяжким не только для оценки самого преступления, но и для оценки злой воли и низости преступницы.

Я полагаю, мы не сделаем ошибки, если и замышляемое, и совершившееся будем рассматривать в совокупности. Не правда ли? Ес-

ли она способна была совершить не задуманное, то, конечно, перед задуманным не остановилась бы ни на минуту, а ведь это только и важно для нас в определении ее личности.

Целый час мы слушали речь ее, ее признание, исповедь, как хотите назовите, но для нас так и остался открытым вопрос: за что? Вопрос, разрешение которого могло бы хоть несколько озарить зловещую тьму, окружающую душу обвиняемой. Я не хочу ставить этого вопроса по отношению к той, которую Бог сохранил от злодейского умысла, хотя и этот вопрос имеет законное основание.

Тут прокурор принужден был сделать небольшую паузу, так как в публике послышалось движение и глаза многих обратились на золотоволосую девушку, сидевшую с низко склоненной головой.

— Но и по отношению к пострадавшему, — продолжал прокурор, чувствуя, что речь его производит впечатление, — я оставляю освещение этого вопроса гражданскому истцу, так как психология ближе ему, как писателю, а интимная сторона — как товарищу потерпевшего.

Обвиняемая отказалась от защитника. О, я вполне понимаю ее и вижу здесь один из искусных маневров той хитрости, которая руководила ею и в борьбе за присваиваемые себе права не только на любовь, но и на личность человека, нужного ей, допускаю даже, любимого. Тут есть прямой расчет обезоружить противников, а противниками являемся мы все и особенно вы, господа присяжные. Вот, мол, как я кротка: безоружная выхожу я, чтобы защитить себя. Это после-то серной кислоты, которую она в перчатках принесла из аптеки, купив ни больше, ни меньше того, что необходимо было для совершения злодеяния. Но этим нарочитым смирением вряд ли можно обмануть кого-либо. И вы, господа присяжные, не могли не заметить в ее речи того яда, за которым обвиняемой не нужно ходить в аптеку, чтобы в данную минуту он явился у нее на языке. Но брызги этого яда не могли на этот раз долететь до глаз тех, кому они предназначались.

Сомневаюсь, чтобы на это единственное в ее устах средство самозащиты решился какой-нибудь адвокат. Но обвиняемой нечего



бояться подобных мелочей после того, что совершено.

— Еще два слова: у госпожи Зеленко, — прокурор в первый раз назвал ее фамилию, как бы показывая этим, что на этот раз должен сделать исключение, считаясь с человеческим достоинством преступницы там, где речь касается ее, как матери, — у госпожи Зеленко двое детей от первого ее брака, и она очень искусно упомянула о них в последних своих словах. Но, господа...

Прокурор вытянулся в одно и то же время и вверх и вперед и простер к присяжным обе руки, как будто хотел нырнуть в глубину.

— Пожалейте этих несчастных детей, не возвращайте им мать, которая утратит в их глазах всякое право на это священное имя, когда они сознательно отнесутся к ее прошлому, к ее неописуемому злодеянию, творя которое она не хотела знать и помнить о них.

Руки его умоляюще сжались.

— Пожалейте их так же, как и общество, для которого это священное имя — мать — так же, как и имя женщины, должно быть символом чистоты и ясности духа: ибо эти

имена стоят на тех же высотах, на который подняло и вас, господа присяжные, общество.

Серная кислота — это грязная пена жизни; до сих пор она только касалась пресмыкающихся и низко ползающих, — не дайте же ей дохлестнуть до вашей высоты, затмить ваши глаза и запятнать вверенную вашей охране совесть. Твердо и властно остановите ее об руку с законом, и вы сделаете великое и светлое дело.

Я, и со мною все общество, убежден: вы сделаете его, иначе горе нам всем.

Тут прокурор качнулся и как бы в некотором изнеможении сел, как человек, столкнувшийся в пропасть огромный камень, который грозил упасть на головы живых.

Публика нашла его речь убедительной в высшей степени и блестящей, и если ему не аплодировали, то только потому, что были потрясены и подавлены обнаруженным его красноречием мраком.

В то время, как он белым платком вытирал вспотевший лоб, все глаза обратились на подсудимую, которую уже считали обреченной.

Она сидела, опустив ресницы, и в ее лице

была такая усталость и печаль, что становилось несколько досадно за это выражение, хотелось более подтверждающего только что выслушанную характеристику ее.

В этом остром внимании забыли не только об ее сопернице, но и о жертве; не сомневались, что присяжные вынесут самый строгий и вместе с тем справедливый приговор, и, конечно, она сама должна быть готова ко всему. Если у нее сохранилась хоть капля человеческого чувства, эта речь несомненно должна была вызвать в ней, если не полный душевный переворот, то во всяком случае жгучее раскаяние.

Публика, любительница подобных эффектных сцен и чудодейственных превращений, ждала со стороны подсудимой, по крайней мере, обморока и была разочарована несоответствующим выражением ее лица. Разочарование публики было бы еще сильнее, если бы она знала, что подсудимая даже не слышала слов прокурора, точно этой речью казнилась не она.

Было ощущение усталости, и когда вслед за речью наступила тишина, показалось ей,

что и речи-то никакой не было, а был этот непрерывный сыплющийся и искорками поблескивающий звон, который наполнял образовавшуюся вокруг нее пустоту.

Злодейство, зверство, выродок, — все это так. Но если это так, отчего же она не чувствует никакого удовлетворения, отомстив за свою, как ей представлялось, поруганную любовь? И было ли бы легче для нее, если бы она, действительно, плеснула в лицо той, а не в его лицо?

Но она не нашла на этот вопрос никакого ответа. После того, как она высказала все то, что заставлял инстинкт самозащиты и не вполне выплеснутая злоба на тех, кто вызвал ее на этот страшный поступок, тяжелым камнем на душе лежала только одна мысль: о ее детях.

Об этих двух девочках, которых она на самом деле любила больше всего на свете. И эта мысль стала ей ясной только сейчас, точно до сих пор душа была вывернута наизнанку, а теперь чудом обернулась налицо. И странно, как ни жестоко представлялось ей ее злодейство, но сам Стрельников в эту минуту был

уже как будто чужой, и казнила она чужого, а не того, кто прожил с ней почти три года и, несмотря на все, дал ей немало отрады.

Председатель предоставил слово поверенному гражданскому истца, и она содрогнулась. Она знала, что все товарищи Стрельникова и до этого не любили ее, и теперь ей нечего ждать пощады. И ее охватил испуг, но испуг не за себя, а за своих девочек.

Дружинин волновался. Он выступал в такой роли в первый раз и хотя готовился к своей речи, но знал, что случайно подвернувшаяся мысль, образ могут отвлечь его в сторону. И поэтому решил себя держать в руках.

Волновались за него не только товарищи, но и посторонняя публика. Что может сказать после исчерпывающей речи признанного оратора, не-юрист?

Все отлично знали, что о гражданском иске не может быть и речи. Значит, вопрос только о реабилитации товарища перед обществом.

Дружинин поднялся несколько побледневший и знакомым жестом провел по лицу и волосам, как он делал каждый раз перед тем, как импровизировал среди товарищей.

— Господа судьи и господа присяжные заседатели, — начал он своим несколько вызывающим тоном и сделал паузу, которая так затянулась, что даже Ларочка встрепенулась и тревожно впиалась в него глазами. Ей показалось, что вдруг он растеряется и ничего не скажет. Но голос его, как бы еще более окрепший в этой паузе, зазвучал уверенно и несколько иронически:

— Я вынужден начать свою речь с обращения не к вам, а к господину прокурору. Я не хочу недоразумений и прямо заявляю, что в данном деле не могу идти с ним рука об руку. Там, где господин прокурор обвиняет, я оправдываю, где оправдывает, я обвиняю. С согласия моего доверителя я заявляю, что не только не требую кары для подсудимой, но желал бы освободить ее от всякой ответственности за то, что касается лично его, а не общественной безопасности, и не того, что называется правосудием. Я иначе, чем господин прокурор, прочел те огненные письма, которые написаны на лице потерпевшего. Прощение — вот что означают они. Прощение той, которая не умела и не умеет прощать сама.

Это заявление вызвало шепот и движение в публике.

Подсудимая открыла на него свои большие глаза, и в них прежде всего выразилось недоверие.

Он продолжал:

— Обвиняя ее, вы узаконяете то, что господину прокурору угодно было назвать общественной моралью. А я говорю, пока существует эта общественная мораль, будут существовать и подобные преступления, какие бы границы вы ни ставили им.

Тут председатель в недоумении поднял голову и уже хотел остановить оратора, но он успокоил его:

— Вы встревожены. Напрасно. Я говорю также как моралист, но несколько иного типа, чем должен быть всякий законник. Во имя истины и человеческого блага я хочу говорить. И только это привело меня в зал суда и заставило выступить против совершившегося злодеяния. И я буду говорить о морали не общественной, а индивидуальной, единственно имеющей право на существование. Тот, чья душа в подобных обстоятельствах



умеет так прощать, как делает это мой доверитель, имеет право жить и своей совестью.

Жизнь! Жизнь должна быть светлой и прекрасной, особенно для того, кто призван служить красоте и свету. Пора дать свободу важнейшему и величайшему из всех чувств — любви. Только то, что мертво — бесконечно; то, что живет — временно, а то, что цветет — скоротечно. Любовь — цвет жизни, и потому нельзя осуждать ее непостоянство. Где любовь, там нет и не может быть ни разврата, ни обмана. И не должно быть ни отчаяния, ни мести. То же, что называется моралью, творит это зло и узаконяет и отчаяние, и месть. Не считайте любовь грехом, когда она не соответствует требованиям вашей морали, и не будет ни отчаяния, ни преступлений из-за любви. Рядом с утратой явится примирение, как плата за право любить.

Но перейдем от рассуждений отвлеченных к самой жизни.

Молодой, талантливый, красивый и притом достаточно обеспеченный художник попадает на квартиру к немолодой, умной и одинокой женщине. Для меня совсем не важ-

но, кто был победителем. В бескорыстной любви всегда оба побежденные. То, что свойственно мужчине, свойственно и женщине, что естественно для него, должно быть естественно и для нее, но отвратительно, когда в отношения любовников вплетается корысть. Где корысть, там смерть любви, и корысть всегда на помощь призывает общественную мораль.

Я говорю, конечно, не о материальной корысти, есть корысть более ужасная и это — корысть не вполне удовлетворенного чувства.

Вот любовь одного из любящих погасла. Тут бы надо им поблагодарить друг друга за ту радость, которую они взаимно пережили, и мирно разойтись; но она не хочет отпустить его от себя и, конечно, пускает в ход корысть и общепринятую мораль. В последней мольбе своей она обещает даже стать его рабой и переносить решительно все, включительно до присутствия любимой им девушки под одной кровлей с ней. И если бы не была так сильна на этот раз любовь его к этой девушке, он мог бы снова уступить, и случилось

бы новое преступление, может быть, не меньшее, чем то, которое мы видим пред собою.

На это моралисты могут воскликнуть: значит, то, что было раньше, хотя бы то, что заставило его сблизиться с подсудимой, — это лишь капризы, похоть! Я возражу, что нет и не может быть меры и весов для любви. Каждое искреннее чувство, зовущее оба пола к сближению, есть любовь, как море и капли из моря суть одно.

Измена — вот еще слово, которое не может не поражать своей нелепостью. Ведь если даже признать, что можно изменять не только истине, или, скажем, принципу, но и человеку, так ведь и тут он никогда не давал ни ей, ни, к слову сказать, никому, с кем был близок, клятвы остаться верным до гроба. А если бы и давал? Но оставляю то, что ясно всем само по себе, и перейду к самому важному, что стоит на пути моей мысли и где мораль приобретает некоторую видимую значительность и оправдание:

— Ребенок, семья.

Когда на помощь корысти и морали у подсудимой родился от Стрельникова ребенок,

она могла говорить настойчивее и сильнее: «Ты не смеешь покинуть нас». Слышите, не меня, а нас, и уж не не должен, а не смеешь, потому что это будет разрушение семьи. Но разве семья определяется вполне детьми? Разве уж это так безусловно? Разве близость между потерпевшим и подсудимой увеличилась оттого только, что появился на свет их ребенок? Нет. Только со стороны подсудимой увеличились средства корысти и морали, которые должны были удержать его в одних с нею стенах. Ей именно стены были важнее всего. Она готова была терпеть и, как мы слышали, терпела все, лишь бы он находился в одних с нею стенах. Это ли семья? Это ли благо для общества? Какое уж тут благо, которое все в зависимости от стен, как зимою тепло. Роль очага при этом должен исполнять тот, в ком огонь прежний разжечь уже нельзя. Ведь любовь — пламя самовозгорающееся, а не поддерживаемое волей того или иного лица.

Долг? Перед кем? Перед ребенком? Но ведь от такого положения ребенок мог лишь проиграть, а не выиграть. Если считать долгом чувство отца к ребенку, если вообще чувство

может быть долгом, — любви к ребенку не могло не мешать то стеснение, которое исходило от нелюбимой женщины, матери этого ребенка. Это стеснение не могло не вызвать таких мыслей: я должен терпеть все это из-за тебя, мое дитя, потому что судьбе и природе угодно было сделать меня твоим отцом. Да точно ли должен? Может быть и для ребенка было бы гораздо лучше, если бы они жили врозь. Ведь он не отказывался от исполнения другого долга, который я даже готов в данном случае признать, — материальной помощи. Больше того, мы знаем, что он, и уходя от нее, не хотел отказывать в этом подсудимой.

В бесконечные дебри лжи и насилия заводит такое отношение к вопросу о семье, и эти ложь и насилие создает и утверждает общественная мораль. Здесь не место вдаваться в обсуждение: как быть иначе, но хуже быть не может...

Председатель на этот раз уже без всякой церемонии остановил оратора заявлением, что должен будет лишить его слова в случае подобных выпадов против узаконенного института. Он так именно и выразился — инсти-

туда, и тем вызвал улыбку на уста не одного только Дружинина, так как сослуживцы знали, что у самого председателя в этом институте дело обстоит не совсем благополучно.

Но Дружинин и не намерен был развивать эту идею. Для него важно было подойти таким образом к заключению, которое произвело большое впечатление не только на публику, но и на присяжных.

— Естественно, — воскликнул он, — что вся эта социальная и психологическая путаница могла привести к катастрофе. Пока жива была дочь, которую он любил и жалел, он оставался в этих стенах. Неизвестно, как бы он поступил, когда явилась любовь, более сильная, чем все, что ему приходилось переживать до сих пор, если бы неожиданно не умерла девочка, его дочь.

Судьба, нередко таинственно сплетающая свои нити с истинными требованиями блага и природы, явилась жестокой освободительницей, которая принесла в жертву эту маленькую, не успевшую расцвести жизнь.

Склоним голову перед этой жертвой и скажем: довольно. Она правду сказала, что за-

мыслила погубить ту, которая, по ее мнению, явилась главным врагом ее слепо, упорно сплетаемых сетей. Это зверство, говорите вы. Нет, это — безумие. Безумие потому, что эту разницу все равно ни уничтожить, ни изуродовать не в состоянии никакая огнеподобная, как выразился господин прокурор, жидкость. Эта разлучница останется навсегда неприкосновенной и прекрасной, потому что имя ее — природа. Природа, которую не в силах была изуродовать не только серная кислота, но и покушающаяся на нее в течение тысячелетий общественная мораль.

Подсудимая сделала то, чему нет названия, не должно быть и наказания, если мы не желаем повторения того же завтра. Не оправдать, но отпустить должны мы ее, хотя бы для этого пришлось сказать, за отсутствием соответствующего слова в юридическом лексиконе, обычное слово:

— Невиновна.

Я с болью и усилием выталкиваю из себя это слово, но как же не сказать его, если это злодеяние выходит из пределов человечности?

Здесь говорили о людоедах, о средневековых временах, но ведь ни в средние века, ни у людоедов, нигде в целом мире вы не найдете ничего подобного. Что же за печать проклятия легла на нашу страну, где именно это преступление стало обычным!

Слова эти он почти выкрикнул, всех сразу взбудоражив ими; в публике поднялся возбужденный шум. Кто-то встал. Кто-то крикнул: «Сядьте!»

Председатель приподнялся и протянул руку в публику:

— Спокойствие, господа, спокойствие.

Но ни в движении его, ни в голосе тоже не было спокойствия.

Дружинин продолжал:

— Пережиток, — сказал обвинитель. Нет, это не пережиток, это совсем новое, уродливое нарождение: из растления жизни, из прививаемой гнили образовалось оно. Это не одичание, а изощрение. С природой можно бороться, но обмануть ее нельзя. Ее можно извратить, но нельзя уничтожить. Когда человек восстает на человека, — это злодеяние, когда человек восстает на природу, — это изу-



верство. Откуда же взялось оно, почему именно у нас оно так часто?

Нечеловеческое восстает против человеческого и святого. Бороться с ним, значит, считать его равноценным человеческому. Если бы не оставалось ничего, кроме отчаяния с содроганием, следовало бы упасть ниц и перестать жить. Если же есть вера в то, что это — чужое нашей душе, надо только отвернуться от него и с отвращением и презрением простить.

Судить здесь нельзя, потому что не здесь источник заразы, а лишь ядовитые бактерии из этого источника.

Тут он опять от частного случая перешел к обобщению. Но председатель довольно резко остановил его.

Однако, в публике уже нарастало новое отношение к этому делу. Все как будто почувствовали себя связанными с этим делом какими-то подземными нитями, натянутыми злостными и губительными руками.

Дружинин с подавленной досадой отошел несколько в сторону от опасного пути и стал говорить образами, которые публика ловила

с жадностью, по-своему истолковывая их, но почерпая из них суть, которая и была лишь важна для Дружинина.

К этим образам трудно было придраться, но, когда они становились темны, у него опять прорывались молниеносные слова. Замечания председателя становились все более угрожающими. Оставалась недоговоренность, но публика и присяжные уже так были захвачены его речью, что это не только не мешало пониманию его, но как бы создавало такую атмосферу, в которой уже становилось ясным не только недоговоренное, но и то, что он хотел сказать.

Бледный, с пылающими глазами, с лицом, как бы опьяненным вдохновением, он говорил:

— В стране, где допустимы непрерывный голод, хулиганство, погромы, гонение на детей и повальные детские самоубийства, возможна и серная кислота.

Председатель мгновенно поднялся, опираясь большими растопыренными руками о стол, и под несдержанные аплодисменты публики сурово заявил:

— Я прекращаю вашу речь.

Публика волновалась. Присяжные тоже.

Дружинин стоял, нахмутив брови, плотно сомкнув губы. И только когда в зале настала тишина, он спокойно попросил от имени потерпевшего сказать лишь два слова.

Председатель угрюмо молчал, и он проговорил:

— Потерпевший просит меня заявить вам, господа судьи и господа присяжные заседатели, что от гражданского иска он отказывается, и, как милости для себя, просит освободить подсудимую, так как она — мать и единственная опора своих детей.

Тут аплодисменты сорвались с новой силой, и председатель уже не решился их останавливать.

Он обратился к подсудимой, не желает ли она сказать еще что-нибудь в свое оправдание в представляемом ей законом последнем слове.

Но она, потрясенная, могла только произнести:

— Мне нечего сказать.

После резюме председателя и всех даль-

нейших формальностей суд и присяжные удалились.

В публике настолько было сильно напряжение, что никто не покидал зала в ожидании приговора.

Художники двинулись гурьбой к Дружинину, обнимали его и жали ему руки; то же делали и наиболее сочувствующие и экспансивные из публики.

Однако, многие были убеждены, что оправдать подсудимую не могут и оправдать ее нельзя. Волнение было настолько сильно, что беседы переходили в споры и даже в ссоры.

Только когда было торжественно провозглашено:

— Суд идет!

Все поспешили занять свои места и затихли.

Когда раздались слова: «Нет, невиновна», все сразу обернулись на рыдание подсудимой.

Оно вырвалось так внезапно и потрясающе, что дрогнуло сердце даже у тех, кто был против ее оправдания.

Все зашумело, задвигалось, смешалось. Вдруг, судьи, присяжные и все атрибуты суда потеряли свой внушительный и торжественный вид. Уж никто ими больше не интересовался. И эти люди, в чьих руках находилась человеческая судьба, торопливо удалялись восвояси к своим мелким житейским делам, как отыгравшие роли богов актеры.

Сказали обвиняемой, что она свободна, но она никак не могла подняться: она все рыдала, качая головой. Не было никого, кто бы радостно успокоил ее в эту минуту.

Это оправдание никого не возвышало и не радовало: наиболее жалостливые с ним еле-еле примирились.

Уж курьер догадался принести ей стакан воды, и она стала машинально пить, отвернувшись от публики, у которой не оставалось ничего кроме любопытства: как она взглянет на свет Божий, как сойдет с позорного места и опять вмешается в хлопотливую, серую, безразличную людскую толпу.

Все внимание было обращено на потерпевшего и на близких ему. Особенно на эту девушку, его невесту.

Взволнованная и дрожащая, подошла она к нему, и все художники, которые окружали его, при ее приближении как-то незаметно деликатно отошли в сторону.

Отошел и Дружинин.

Продолжая беседовать с товарищами, он изредка взглядывал в ту сторону, где стоял Стрельников. И было что-то мучительное и вместе с тем бесконечно-сладостное в том чувстве, которое переживал он. Теперь уже не было ни капли сомнения, что он любит ее и отдал бы за нее свою жизнь, но она сама отдавала свою жизнь за любовь, и за это-то, может быть, он и любил ее больше всего.

Но сможет ли она, с ее красотой, талантливостью и этой страстной жаждой жизни, которая опьяняла его с первого вечера знакомства с ней, остаться глазами, только глазами этого слепца.

Вот он увидел, как она нежно взяла его руку, что-то сказала ему. Но на этом почти страшном лице, безобразия которого тот и сам не подозревал, нельзя было угадать ничего. Ничего — ни улыбки, ни скорби. Только по ее лицу, по ее глазам, в которых опять задро-

жали и засветились слезы, он увидел отражение того, что скрывали те почти нечеловеческие черты.

И вот на глазах всех, празддно-любопытно и вместе с тем взволнованно следивших за этой парой, она поднесла его руку к губам и с благоговением и слезами ее поцеловала.

Это был порыв, преклонение перед великодушием, которое проявил несчастный.

Несчастный.

Дружинин поймал себя на том, что он позавидовал ему, но тотчас же преодолел это чувство, и у него самого вздрогнули в сердце слезы настоящего восторга.

— Это хорошо, — сказал он себе и вслух повторил:

— Это хорошо.

И товарищи, также тронутые до слез, проговорили:

— Да, это прекрасно.

И вот она взяла его под руку и тихо повела через залу, и толпа молча расступалась перед ними. Но эти были больше удивлены, чем восторгались, и, может быть, в эту минуту больше жалели ее, чем его.

**М**ать Стрельникова заранее предвидела исход суда, но все же сильно волновалась, ожидая сына и ту, которую она еще не знала, как почитать: будущей ли невесткой, или чужой, только на время пожалевшей ее несчастного сына.

Сам он до последней минуты не верил, что Лара останется с ним навсегда. Правда, в ту страшную ночь она поклялась ему в этом в присутствии Дружинина, и оттого клятва ее имела особенное значение. Не только облегчила его душу, подавленную отчаянием, а прямо-таки спасла от самоубийства. Но мало ли на что способна девушка под влиянием минуты.

А главное, тогда еще не вполне ясно было, останется ли его лицо уродливым и удастся ли восстановить зрение.

Две женские любящие души поддерживали его, внушая, что зрение вернется, да и сами они не могли допустить, что может быть иначе. Большая часть времени до суда прошла за границей, куда его возили к знамени-



тым врачам. Только после этой поездки они убедились, что надежды нет, что он навсегда останется слепым. От него этот ужас решили скрыть, а между тем слух начинал заменять ему глаза, и в звуках голоса он слышал больше, чем мог разглядеть зрячий в выражении лиц. Но любовь их была так велика, что он долго не в состоянии был разгадать, обманывают ли они его, или обманываются сами.

Матери совсем не важно было, чем окончится суд, а важно, каким вернется из суда ее сын: в этом, по ее мнению, заключался почти роковой вопрос для него, может быть, вопрос жизни и смерти.

Она не отходила от окна, ожидая, когда появится карета, и этот серый скудный день тянулся для нее, как бесконечный подъем в гору. Каждый раз, как раздавался стук какого-нибудь экипажа вдали, тревожно стучало и замирало ее сердце.

Натура ее была сильная, и даже за все эти страшные дни она ни разу не упала духом, как не падала духом никогда, со времени своей молодости, с тех пор, как судьба поставила ее лицом к лицу с неприглядной жизнью, тре-

бующей силы и власти. Муж был человек легкомысленный: кутила, мот и довел бы семью до нищеты, если бы, как-то сразу созрев от разочарованной любви и преждевременных житейских ударов, не взяла она в свои руки семью и хозяйство и не обнаружила с небольшим в двадцать лет удивительную энергию, ум и находчивость. На единственного сына перенесла она всю страстность своей души и ревновала его не только к женщинам, которых считала недостойными его, но и к Ларочке.

Если она нынче не поехала в суд, то лишь потому, что на этом особенно настаивали Ларочка и Дружинин, как бы оберегавшие ее от напрасных терзаний.

Не жестоко ли они поступили, не допуская ее в суд! Разве после того, что она перенесла, может случиться что-нибудь, что увеличило бы ее муки? Ничто, ничто, кроме разве его смерти. Покорилась, осталась, но от их настойчивости осело в сердце ревнивое подозрение.

Незаметно серый день переходил в сумерки, но в доме почему-то не зажигали огня. И

было что-то сумеречное в самой фигуре этой старой женщины, с старомодной наколкой на красивых, зачесанных назад седых волосах, все еще стройной и бодрой; только шея ее за эти тяжелые дни несколько ослабела и голова не держалась так прямо и гордо.

В нетерпении выходила она в сад и шла через сад к решетчатой калитке, но каждый раз, как вдали показывался экипаж, торопливо уходила, чтобы они не застали ее, точно стыдилась показать свои чувства.

Но экипажи здесь были редки. По возвращении из-за границы Стрельниковы умышленно поселились в окрестностях города у моря, неподалеку от того дома, где продолжала жить у своих родственников Лара: так было удобнее для обоих, да и спокойнее для слепого, избегавшего людей.

Когда, наконец, вдали показалась в сумерках карета, истомившаяся мать почти бегом бросилась в дом и стала ожидать их с жутким чувством. Не видя его, она никогда не вспоминала его слепым и изуродованным, а представляла зрячим и красивым.

Когда же увидела их под руку в аллее, хо-

тела броситься ему навстречу, но сдержалась и только тихо простонала и опустилась в стоявшее у окна кресло. Это был как будто он и не он, точно его подменили.

Но приходилось пересилить горе свое, которое ей суждено было нести до могилы; приходилось не только не падать духом самой, а еще поддерживать его и сейчас быть особенно зоркой, чтобы не ускользнуло ни одно его движение, ни один звук голоса. Да и настроение девушки после суда было ей далеко не безразлично.

Привычным усилием воли она овладела собой и пошла им навстречу. Уже прислуга вместе с Ларой помогали ему в передней снять пальто, а он противился, желая не только снять, но и повесить сам. Он старался, где можно, все сделать сам. Издали различил материнские шаги и вытянул к ней голову, и она услышала его голос, который более всего ее убеждал, что это ее сын:

— Все хорошо, мама. Лучше, чем можно было ожидать.

Он поймал руку матери и приложил ее к губам.

У нее несколько отлегло от сердца. После поцелуя она взяла обеими руками его руку, тоже сожженную кое-где серной кислотой, и с нежностью гладила и ласкала ее.

— Хорошо, хорошо, после вы мне расскажете, а теперь отдохни, да и Ларочка, верно, устала.

Он воскликнул с приподнятой бодростью:

— Нет, нет, к столу, к столу! Мы голодны. Отдыхать будем после обеда, а теперь дай стакан вина, или лучше хорошую рюмку коньяку. Это придаст мне силы.

«Опять коньяку», — боязливо подумала мать и украдкой, точно он мог заметить, взглянула на девушку.

Но та как будто не поняла ее. Вообще, она казалась более усталой, чем он, и несколько рассеянной.

Прошли в столовую.

Мать отказать не решилась, но рука ее дрожала, наливая в полумраке коньяк, и она досадливо прикрикнула на прислугу, что та не зажгла вовремя огонь.

— Не сердись, мама, не сердись. Ты нынче должна быть спокойной, — говорил он с

улыбкой в голосе.

Медленно стал пить, очевидно, наслаждаясь душистым, крепким вином, и, выпив до капли, продолжал еще более окрепшим тоном, в котором мать ловила уж давно не слышанные ею умиротворяющие ноты:

— Да, да, все лучше, чем можно было ожидать, и за все это мы должны быть благодарны Ларе. Все она, все от нее.

И он безошибочно повернулся в ту сторону, где стояла девушка, даже протянул по тому направлению руку, сам удивляясь в то же время вслух своей чуткости.

— Как это странно, мама, я не вижу ни тебя, ни ее, а знаю, где вы, и даже — далеко от меня или близко.

Рука его все оставалась протянутой, и Лара поспешила ее принять.

Мать с зорким вниманием взглянула на девушку, но лицо той, всегда такое светлое, оставалось теперь задумчивым и печальным.

Заметив этот обращенный на нее пристальный безмолвно вопросительный взгляд, она, сама не зная почему, смутилась и постаралась улыбнуться; но улыбка вышла туск-

лой, почти виноватой.

— Я устала, — поспешила сказать она в свое оправдание. — И, правда, голодна. Пожалуй, и мне глоток вина не повредил бы.

И она хотела осторожно высвободить из его руки свою руку, чтобы налить вина, но он не выпускал ее пальцев.

Мать заметила это и налила ей сама.

Прислуга зажгла лампу, и он взволнованно заявил, что почти различает огонь.

Лара приняла вино свободной рукой, глотнула и хотела сесть, как всегда, за стол против него, но он крепко сжимал ее пальцы.

— Нет, нет, ты сядешь нынче со мною рядом. Уступи ей на этот раз, мама, свое место.

— Пожалуйста, пожалуйста, — поспешила согласиться мать, садясь напротив и все больше дивясь какой-то еще непонятной ей, но уже явной перемене в обоих. Верно, на суде произошло что-нибудь необыкновенное.

И она опять устремила вопросительный взгляд на девушку.

Та почувствовала необходимость ответить.

— Он все преувеличивает, приписывает мне то, в чем я... — не сразу нашла подходя-

щее выражение и чуть не сказала «не виновата», но поправилась: — не участвовала. Я ни слова не говорила и ничем не проявила себя на суде. А вот он был, действительно, великодушен до героизма, оттого и чувствует себя так хорошо.

— Только из-за тебя! Только из-за тебя! — воскликнул он голосом, задрожавшим восторгом и нежностью. — Не будь тебя, я бы не мог никогда ни простить, ни помириться с той, со всем миром, и главное, вот с этим...

И он печальным движением поднес свои руки к лицу, к глазам, и так остался на несколько мгновений с закрытым лицом.

Мать подавила вздох: видно, не очень-то примирился. Но уже самые слова его об этом принесли ей утешение. И в ее горьком состоянии могла найтись если не радость, то некоторая отрада.

Она перевела помутневшие глаза с сына на девушку, но выражение лица Ларочки сбивало ее: в этом лице не было той ясности, которая светилась всегда, даже в наиболее тяжкие часы.

Он оскорбился.



— Ты, мама, не слушай ее. Есть пределы, за которыми скромность переходит уже в фальшь.

Мать также поддерживала сына.

— Правда, какая молодая девушка нынче осталась бы так верна своему сердцу, как вы.

В глубине души она была, однако, убеждена, что каждая девушка так бы именно и поступила, потому что даже слепой и изуродованный, ее сын был все же достойнее, по ее мнению, всех зрячих красавцев в мире.

— Разве я не вижу, что представляют собой не только нынешние девушки, но и женщины? — прибавила она с раздражением, убежденная, что если и были у него какие-нибудь грехи в отношении женщин, так это потому, что они сами развращали его и, наконец, погубили.

Он с раздражением остановил мать:

— Ах, мама, ты не о том.

— Ну, да, ну, да, — поспешила она успокоить его, — это я только так, к слову. Я этим хочу сказать, что такой души, как у Ларочки, нет другой в целом мире. Кто мог так чутко, так благородно поддержать тебя!

Он с восторгом подтвердил:

— Никто, никто.

Мать подавила ревнивую печаль в своем сердце. Ее беспредельная любовь как будто даже и не шла в счет.

Лара упорно не соглашалась. В этих спорах она как будто сама хотела выяснить что-то, начинавшее ее мучить. Доискаться настоящей правды.

У нее было такое чувство, точно он при этом дает ей что-то в долг и она не в состоянии этого долга уплатить ему.

— Да нет же. Все это не то, не то. Ведь если я так поступала, принуждая себя, скажем, из чувства долга, из желания исполнить свой обет, так кому это нужно!

— Но кто же тебе говорит, что ты себя принуждаешь!

— Ну, а если я так поступала, потому что я люблю тебя, значит тут ничего особенного нет.

— Ну, вот, ну, вот, — обрадовался он.

— Я счастлива, если хоть сколько-нибудь способствовала тому хорошему, что ты испытываешь.

Эти слова, произнесенные без особенного волнения, как-то по-книжному, прозвучали безжизненно и пусто.

Он наклонил голову и задумчиво повторил:

— Испытываю. Нет, я пока не могу сознать этого вполне, но, во всяком случае, этот день имел для меня значение важное, может быть, решающее. И то, что ее оправдали, — тихо прибавил он, — это хорошо, это очень хорошо.

Но мать отнеслась к этому совсем иначе. Она готова была взять на себя даже заботу о детях, только бы виновную наказали, как можно строже. Великодушные его она находила неестественным, приписывала его влиянию Лары столько же, сколько влиянию Дружинина, и оттого оно было вдвойне ей неприятно. Явилось даже отдаленное подозрение, что тут кроется с их стороны какой-то расчет. От ее ревнивого взгляда не могло укрыться чувство Дружинина к невесте ее ослепшего сына. А житейский опыт не позволял безусловно верить в непоколебимость возвышенных чувств.

Ее особенно смущало сейчас явно угнетенное настроение девушки, и в голову стучалась жестокая, низкая мысль: не надеялись ли они на то, что, простив преступницу, он к ней вернется, чего та, несомненно, не могла не желать страстно.

Она изредка взглядывала на Лару и готова была видеть во всем подтверждение своих подозрений. Раза два она даже поймала какой-то досадливый взгляд ее, когда сын ее ел. Правда, прежде он не был столь придирчив и требователен к еде, не смаковал так то, что ему нравилось. Но не эта же новая его манера есть раздражала ее!

Что же случилось?

Она старалась навести сына на беседу о суде, и скоро ей это удалось.

— Знаешь ли, мама, — как-то особенно внушительно заявил он, — какое было сделано поразительное признание на суде.

Мать насторожилась.

— Та особа заявила, что облила меня серной кислотой просто потому, что я роковым образом, случайно подвернулся ей. Между тем, купила-то она серную кислоту, чтобы об-

лить Лару.

— Вот как! — вырвалось у матери.

Она совсем новыми глазами взглянула на девушку.

Та подняла голову и прямо встретила ее взгляд.

И вдруг они обе в первый раз почувствовали так определенно, что не любят друг друга. И обеих это поразило.

Лара опустила голову и тихо произнесла:

— Я жалею, что так не случилось.

Стрельников воскликнул в порыве настоящего великодушия:

— Нет, нет. Клянусь тебе, что я не жалею об этом. То есть не жалею, что пострадал я, а не ты.

Он не высказал самого важного, именно того, что произойди эта катастрофа так, как предполагалось, он так же не оставил бы девушку, как она не оставляет его.

Она почувствовала его мысль, и это печально осветило что-то в ее душе, и особенно эту печаль подчеркнуло то признание, которое она только что сделала себе.

Эти несколько месяцев до суда прошли у

нее в экстазе горя и жалости. Жалости, пожалуй, даже было больше, чем горя; жалость заливала всю душу, переходя за пределы любви, той любви, которая почти пророчески определилась в ней накануне случившегося. Куда могла привести ее любовь, она не знала и об этом не думала. Было не до того: и у горя есть подобие торжества. В эти почти сладостные от муки и самоотвержения дни самый вопрос о времени не существовала для нее. Казалось, в этом экстазе потонули ее прежние личные стремления: жажда жизни, успеха, наслаждения. Она еще не отказывалась и не отрекалась от этого, особенно от власти над людьми при помощи своего голоса, молодости, красоты... Но Дружинин упорно утверждал, что испытать свою силу на одном человеке иногда значит не меньше, чем испытать ее на толпе, и она отдалась своему подвигу, не думая, окончится ли он когда-нибудь.

А теперь?..

«Все это оттого, что я устала, — объяснила она себе свой внезапный упадок духа. — Но усталость пройдет, и тогда вернется прежнее сладостное состояние, в котором нет места ни

сомнению, ни тревоге».

Разговор как-то сразу упал, и они оканчивали обед молча.

Но надо было как-нибудь оправдать это молчание, и его как будто вполне естественно оправдывали понятной усталостью.

Ларочка неловко поднялась из-за стола, собираясь домой. Он хотел непременно ее проводить и вернуться домой на извозчике. Но она решительно этому воспротивилась. Как-то торопливо простилась, обещая прийти завтра утром. И когда целовалась с матерью при прощании, — так ясно ощутила скупость и несдержанную холодность ее поцелуя.

## XXIII

С весною то душевное состояние, которое она считала усталостью, усилилось и начало пугать ее. И почему-то еще более пугало решение уехать на лето в деревню к Стрельникову.

Меж тем, все складывалось так, что она должна была бы чувствовать полное нравственное удовлетворение: он не только почти перестал поминать о самоубийстве, но и привыкал к этой новой жизни, встречая в ней черты, которые его к ней привязывали.

Лишь только замкнулся для него видимый мир, он постепенно стал уходить в себя, в свои собственные ощущения; его миром становился он сам и то, что непосредственно его самого касалось.

Он даже перестал пить, а раньше любил выпить с товарищами, особенно же требовал вина в первые мрачные дни. Пил, по-видимому, чтобы забыться, и ей с матерью приходилось останавливать его из страха, чтобы он не сделался алкоголиком. Теперь он отказался от вина просто потому, что оно могло по-



вредить его здоровью. Вообще, на свое здоровье он стал обращать особенное внимание, точно готовился прожить сотню лет. Даже товарищей он принимал редко, потому что они слишком ярко напоминали ему о прошлом, да и им было тяжело с ним. Ревнивые расспросы об их новых работах, воспоминания о своих недовершенных планах расстраивали его.

— Ах, я бы теперь писал совсем иначе, совсем иначе! — вырвалось у него. — Я убедился теперь, что мы толклись на одном месте. Надо писать совсем по-новому. Право, — полшутя добавлял он, стараясь скрыть под насильственной шуткой свое мучительное недовольство. — Зрение наше слишком притупилось, художникам не мешало бы на время ослепнуть, чтобы глаза отдохнули, и тогда станет ясно, что по-старому писать нельзя.

Но как писать, он объяснить не мог, и они истолковывали его недовольство понятным страданием, может быть, завистью. Прощали ему, но посещали его все реже.

Зато Лара была при нем почти неотступно, хотя не прерывала уроков с своей ученицей

и, в свою очередь, сама брала уроки пения. Но голос ее как-то потускнел, вдруг потерял свою свежесть, и она это приписывала также усталости.

Хотелось отдохнуть, уехать куда-нибудь, но непременно одной, куда-нибудь в глушь, или, как уехал Дружинин, в новые далекие страны.

Конечно, на время, может быть, на самое короткое время.

Но если раньше нельзя было его оставить, потому что мешало постоянное мучительное опасение за его жизнь, то теперь он не хотел ни на шаг отпускать ее от себя.

— Без тебя я чувствую, что я слепой, — говорил он с любовью, которая росла и крепла в нем с каждым днем. — А с тобой мне светло. Твоими глазами я вижу мир Божий, а своими — человеческую душу. Свою и твою душу. Вижу так, как никогда ее не мог видеть зрячий.

Ее должно было бы радовать такое состояние его, и она убеждала себя радоваться, но радость не приходила. Вместо этого откуда-то накапливалось недовольство, за которое она себя

осуждала. С острой тревогой она ловила себя на том, что ей почти неприятно его успокоение и примирение с своим несчастьем, и только когда его охватывала страшная тоска о том, что он не может работать, тоска, которая лишала его сна, заставляла стонать, как больного, и метаться точно в бреду, ломая руки, такие беспомощные и навсегда осужденные на бездействие, ее вдруг опять влекло к нему и непонятно страдальчески очаровывало.

— Я с тобой. Не надо отчаиваться. Не надо отчаиваться, — кротко утешала его она, и эта кротость приносила ей самой томительную отраду. И чем больше были его раздражение и боль, которые удавалось ей смягчить, тем глубже было ее удовлетворение.

О том важном, что соединялось с предстоящей поездкой на лето, не говорилось, как не говорят о несомненности завтрашнего дня.

Так, по-видимому, к этому относилась и мать, которая все чаще и чаще оставляла их вдвоем, явно с целью, чтобы сильнее укрепились эта необыкновенная связь. Но по временам в этом пребывании вдвоем с ним, Лара

начинала почти физически ощущать пустоты, который нельзя было заполнить ни чтением, ни музыкой, ни даже прогулками.

Он любил знакомые места, особенно те, где раньше бывал с нею. Она не умолкая должна была говорить ему, какие предметы попадают им на пути и окружают их, какие тона на земле, в небе, в облаках.

Сам он взамен делился с нею теми впечатлениями, которые воспринимал его изощрявшийся слух.

— Знаешь, мне кажется, что я только теперь начинаю видеть и почти осязать звуки. Это новое и большое наслаждение.

Действительно, природа как будто стремилась его вознаградить за то, что было отнято так жестоко и внезапно человеческой рукой. У него как будто появлялись новые чувства, о которых он не подозревал, будучи зрячим.

Раз как-то вышли они на прогулку в ясный мартовский день, когда одна сторона улицы была сырая, а другая, освещенная солнцем, — суха.

Рука об руку шли они по освещенному солнцем асфальту, и им попадались на этой

хорошо знакомой улице как будто все новые и новые лица: какой-то старый-старый генерал с мягкими ногами, которые подгибались при каждом движении, но с блаженно-улыбающимся лицом; дети из сиротского приюта, которые шли парочками, — несчастные маленькие заморыши, бедно и серо одетые, напоминавшие каких-то пленных бескрылых птиц; женщины, большинство которых казались девушками, красивыми, нежными. Все это вместе с весенними облаками и синевой, лившейся через церковную колокольню, возбуждало в ней тоску, которую она хотела от него скрыть, и потому бодрым голосом рассказывала обо всем, что встречалось.

Он слушал и не слушал ее. Вдруг она заметила, что он сбивает ее походку, делая то большие, то маленькие шаги.

— Зачем ты так идешь? — спросила она его.

Он на мгновение остановился и улыбаясь, отчего его обезображенное лицо стало еще мучительнее, поднял голову и сделал какое-то неопределенное движение рукой.

Еще голые были деревья, но в каждой ве-

точке трепетала весенняя радость и ожидание, и тени этих веток и обмокших черных стволов темнели на сером асфальте, как разлитая темно-лиловая краска.

— Видишь ли, — задумчиво заговорил он. — Мне припомнилось, как я любил иногда в детстве идти в такой день, стараясь не наступать на тени потому, что они мне казались живыми. Я даже никогда не вспоминал об этом с тех пор, а вот теперь вспомнил.

И он под руку с ней двинулся вперед, верно и точно переступая тени, пересекавшие им путь.

Подобный мелочи не только занимали его, но незаметно и крепко привязывали к жизни, к той новой жизни, которая началась таким роковым образом. Все его существование как будто переломилось надвое: слепота сделала прививку к старому стволу жизни, и на нем появились не только новые листья и цветы, но и расти он стал по-иному.

Даже воспоминания являлись не те, что были раньше, и, главное, они приобретали не ту окраску, даже не тот смысл, что у зрячего.

Только сны остались такие же, и это, мо-

жет быть, было самое страшное для него в его новом существовании.

Сны снились и помнились гораздо чаще, чем прежде, и в снах он всегда был зрячим. Больше всего сны относились к прошлому, но иногда то, что она ему прочитывала или рассказывала, также представлялось во сне, но не всегда в тех красках и формах, к которым он привык, а в несколько измененных, часто напоминавших живопись безумных художников, быть может, новаторов, над которыми зрячий он смеялся, не понимая, того, что они творили.

Нередко сны сопровождались странной музыкой, опять-таки не похожей на ту, что он слышал. Это была как бы видимая музыка, в которую переходили линии, движения, краски, навсегда исчезнувшие из его глаз. И, сознавая себя во сне художником, он понимал, как надо писать и создавал новые картины.

Но, просыпаясь, содрогался от мысли, что для него настала вечная ночь, и приходил в отчаяние. Тьма оглашалась рыданиями, на которые испуганно прибегала мать.

И долго рыдал он как ребенок, прижима-

ясь к матери и жалуясь на свою беспомощность и горе.

— Лучше мне умереть! Лучше мне умереть! — вырывались у него горестные вопли.

Мать успокаивала его, как могла, сознавая, что лучшим утешением для него была бы близость любимой девушки. С этим надо было спешить. Ведь ужас слепоты не лишал его молодости и сил.

И теперь, когда он мало-помалу стал приходить в себя и свыкаться с своим новым положением, не только каждое ее прикосновение, но уж одно ее присутствие его сильно волновало.

И она чувствовала это и приходила в трепет при этом ожидании, и оттого терзала ее мысль об этой поездке и о близости с ним навсегда, навсегда.

И, однако, она знала, что это неизбежно, что если она откажет ему в этой близости, — он не перенесет такого удара. Внутренно она уже решила, а все-таки боялась оставаться с ним вдвоем и все оттягивала день отъезда.

Будущее цепкими нитями начинало переплетаться с мыслями о детях. И раньше эти



мысли приходили в голову, но раньше в них не было того, что представлялось теперь. Раньше о детях думалось, как о великой радости, как о цветах, которые должны украсить жизнь, думалось как-то по-девичьи трогательно и даже наивно.

Теперь не то, теперь дети представлялись как награда за подвиг, как искупительные дары за жертву, как средство единственного примирения с судьбой.

И опять-таки эти мысли были скорее в настроении, чем в сознании. До такого сознания она не хотела допустить себя: в этом был бы страшный для нее приговор, и потому она лучше предпочитала уходить от них, чем додумывать их до конца.

«Боже, отчего этого не случилось раньше? — колола ее мысль. — Хотя бы в тот последний вечер, перед тем, как она, сама того не зная, послала его на эту жестокую казнь».

Эта мысль ужасала ее самое.

Откуда она могла у нее явиться? Разве он не был дорог ей по-прежнему, или она сама изменилась за это время?

И должна была сознаться себе, что измени-

лось что-то. Может быть, то, что заставляло ее раньше пребывать в экстазе подвижничества.

## XXIV

Как раз около этого времени она получила письмо от Дружинина.

С той последней беседы в роковой вечер Дружинин ни разу не помянул ей о своей любви; наоборот, более чем дружеским, братским вниманием к ней, а особенно к Стрельникову и заботами о нем он как бы утверждал отречение от своих надежд, которые были так житейски-естественны при подобных обстоятельствах.

Ведь он не мог перестать ее любить только оттого, что она предпочла ему другого, который лишился теперь зрения и стал уродом. Он и на суде-то вызвался выступить, как бы имея в виду уже навсегда спясть их связь.

Тут было явное противоречие, но он держался за него с страшным упорством, борясь таким образом больше с самим собою, чем за их счастье.

И на суде ему показалось, что он вполне победил себя. Это был почти роковой для него рубеж, и он через него перешагнул.

Стрельников же хорошо знал, что товарищ

его ее любит. Что из того, что он не видел глаз, которыми тот смотрит на его невесту? Может быть, если бы он видел это, его убеждение поколебалось бы скорее, чем теперь, когда он был слеп: никогда ни одним взглядом Дружинин не выдавал своего чувства.

И она знала, что он ее любит, может быть, больше прежнего, и не могла не ценить его благородства и бескорыстия.

Если бы кто-нибудь, Стрельников или его мать, заподозрили в это время, что у нее есть к Дружинину более тонкое, нежное чувство, что это чувство было даже и тогда, когда Стрельников так внезапно захватил ее своей стремительной страстью, — она бы возмутилась всем существом: подобного раскола в себе она ни за что не могла допустить и взглянула бы на это, как на вероломство, измену, даже предательство.

И Дружинин, ничего не знавший об ее застенном переживании, глядел на все именно таким образом, хотя инстинктивно все ждал чего-то, разрешающего захлестнувшую его петлю. Может быть, поэтому-то накануне отъезда он и просил у нее согласия переписыв-

ваться. Но она ему отказала в переписке.

«Почему?» — спросила она себя после его отъезда. И побоялась не только уяснить себе ответ, но даже задуматься над этим.

Все же, несмотря на ее решительный отказ, он не выдержал и написал ей с пути. Штемпель на письме стоял Судан, и туда же он просил ответить, намереваясь после скитаний по пустыне вернуться в этот порт.

С страшным волнением она прочла это письмо, но прочла всего один раз и тотчас же поспешила письмо сжечь, чтобы не перечитывать более и не останавливаться на тоскливых призывах его.

\* \* \*

«Знаю, что мне не следовало бы посылать Вам этого письма, — писал ей Дружинин, — что это бесполезно, и все-таки пишу.

А вдруг... А может быть.

Помните, как в тот ужасный вечер я сказал Вам, что если когда-нибудь Стрельников... Не стану дописывать этих слов. Я знаю, Вы не могли их забыть. Теперь смысл этих слов погас сам собой, но зато есть другое.

Я знаю, что Вы любите его и видел, как лю-

бите. Я видел этот подвиг, и он победил меня. Его этот подвиг спас. Для чего спас, я не знаю. Может быть, для того, чтобы он понял, что несчастье это послано ему самой судьбой, дабы он познал цену и красоту иных радостей, иных сокровищ жизни, нежели те, которые он, как художник, постигал едва ли не одними глазами.

Если это окажется так, я пойму, что вы останетесь с ним. Если нет, я еще раз повторю вам то, что сказал, но только теперь иначе, потому что еще сильнее люблю вас и страдаю от этой моей единственной и последней любви: позовите меня.

Перед Вами вся прекрасная и светлая жизнь. Не убивайте же ее. Помните, что подвиг не может длиться вечно, что это лишь мгновенный полет души к неземному.

Я не только знаю Вас, я Вас всю чувствую моей бесконечной любовью. Со временем он сам простит, понимая, что это не принесет счастья ни ему, ни Вам. Уйдите вовремя, если не ко мне, если я не заслуживаю такого счастья, то куда хотите, к кому хотите, — в мир. Но только бойтесь бремени, потому что за

ним — отчаяние.

Вот я написал это письмо из пустыни, где скитаюсь в постоянных мечтах о Вас, и боюсь перечитать его. Все это — лишь тень тени того, что сердце хочет Вам высказать. Но если Вы можете оставить хоть маленькую надежду, я готов ждать сколько хотите. Напишите мне хоть одно слово».

И она поспешила тотчас же ответить, как бы отрезая этим всякую возможность к дальнейшим попыткам:

— Нет.

Отцвели бело-розовые фруктовые деревья, лиловые цветы сирени стали подсыхать и покрываться ржавчиной, перестали слетаться хмельные весенние ветры, и небо стало не так влажно-сине и зори не так свежи и коротки.

И на смену раннему цветущему зацвела белая акация.

Почти все улицы в городе были обсажены этими деревьями, и когда они начали цвести, воздух до такой степени наливался их пряным, томительным ароматом, заглушившим все другие запахи города, что, казалось, им пропитывались камни зданий и мостовых.

Густые белые кисти этих цветов до такой степени сильно покрывали деревья, что мелкие мутно-зеленые листья их терялись за цветами, и ветви казались сверху донизу отягощенными снегом.

А когда начинал дуть ветер, тянувший полетному, белые лепестки облетали и носились в воздухе, точно легкие бабочки-однодневки, осыпая прохожих, лошадей, экипажи;



устилали улицы и мешались с пылью, которая становилась душистой, как ароматический порошок.

Аромат проникал в самую кровь, и кровь начинала бродить, как вино.

Последнее время мать все чаще и чаще оставляла их вдвоем под тем или иным предлогом; но не клеилась беседа и чтение. Пробовала петь, но и пение не рассеивало неловкости, которая мешала им быть самими собой.

Казалось, кто-то незримо присутствует между ними и тяготит их.

Особенно она чувствовала это нынче, в последний вечер накануне отъезда. И обрадовалась, когда это томительное состояние было прервано приходом портного.

Портной принес ему новый летний костюм, из легкой палевой фланели с еле заметными темными полосками.

Примеряя его, Стрельников вышел к Ларочке, чтобы она посмотрела, хорошо ли на нем сидит костюм.

Видимо, он был озабочен этим вопросом, и ее поразил еще раз в нем интерес к таким вещам, о которых, по ее мнению, в его положе-

нии странно было думать.

— Костюм, вообще говоря, сидит недурно, — говорил он с серьезностью, казавшеюся ей нелепой, и по привычке наклонял и поворачивал голову, как бы осматривая красиво и легко облежавшую его стройную фигуру светлую материю. — Вот только рукав на правом плече как будто поднят несколько больше, чем на левом.

Лара не собралась еще хорошенько рассмотреть, как портной-еврей, маленький и лысый, похожий на гнома, завертевшись вокруг заказчика, быстро-быстро заговорил:

— Извините мне, мусье Стрельников, это вам только кажется, потому что у всякого человека правое плечо выше левого.

— Да, и мне кажется, он прав, — осторожно подтвердила Лара.

— Ну, да, ну, да, я же говорю. Костюм вполне по вашему фасону. Подойдите к зеркалу. Подойдите к зеркалу.

Стрельников уверенно подошел к зеркалу, и Лару поразило, зачем он это сделал.

— Может быть, может быть и так, — согласился Стрельников. — Но что вот карманы

поставлены чересчур низко, это несомненно.

Портной чуть не подпрыгнул от удивления.

— Но ведь теперь такая мода, мусье Стрельников! Вы же всегда любите, чтобы было сделано по моде. Посмотрите сами на журнал.

Портной совсем забыл о слепоте Стрельникова, да и не трудно было об этом забыть.

Стрельников поворачивался перед зеркалом с такой свободой и спокойствием, чувствуя себя стройным и молодым в этом новом костюме, что и сам как будто забыл о своем уродстве и слепоте. И точно желая продлить этот самообман, он не только не возразил ничего на предложение портного посмотреть журнал, а поспешил с ним согласиться.

— Да, в самом деле. Это просто я привык к прежнему покрою.

По уходе портного, когда они остались вдвоем, Стрельников не переоделся, оправдываясь перед ней в своем франтовстве:

— Хоть и не по сезону, но уж вечер и не стоит снимать костюм. Не правда ли?

Он ожидал, что она похвалит костюм и

скажет, что он идет к нему, так как знал, что такой же костюм в прошлом году очень к нему шел.

Но у нее не хватило духа похвалить. Она лишь уклончиво заметила, что конечно, если он не думает идти нынче вечером гулять, то переодеваться не стоит.

Вероятно, в тоне ее он уловил что-то печальное для себя: оживление его вдруг погасло.

Он медленно подошел к окну и, опершись о подоконник, молча стал лицом к саду и склонил голову.

У ней сердце заныло. Она вспомнила.

Вот так же он стоял тогда, в тот вечер, и так же сидела она на диване, зябко кутаясь в платок, потому что ей нездоровилось.

И при виде этой молодой, сильной фигуры, этого крепкого, заросшего волосами затылка, ее охватила упорная мысль, что на самом деле ничего такого, что терзало столько месяцев сердце, не произошло, что это был страшный кошмар, даже просто безумие. Вот он обернется сейчас, и она увидит в сумерках не пугающую маску, а красивое лицо.

И прежде подобные мысли приходили ей в голову, но никогда с такой удивительной настойчивостью. И хотелось даже окликнуть его, чтобы скорее убедиться, что так оно и есть на самом деле.

Но это затмение, почти забытье, продолжалось всего лишь секунду, даже меньше секунды.

И затем она сжалась еще больше, еще глубже ушла в теплый платок, хотя был почти летний вечер и за раскрытым настежь окном — еще теплее, чем в комнате.

Сумерки стояли там в синевато-лиловых тонах, и море, открывавшееся перед окнами под облачным небом, было густого мутно-фиолетового тона: оно как будто совсем подходило к обрыву с юга и обрезало неровными изломами берег, образовывавший невдалеке залив с далеко уходящей дугой берега, который кончался мысом, выступавшим за дальностью расстояния в море облачной полосой.

В одном месте берега, где залив уходил в глубину, светился красный огонек: там была рыбацья стоянка, и каждый вечер дымился костер. А на далеком мысу сияла звезда маяка

пронзительным, даже издали, голубоватым огоньком. Но еще ни горизонтального, ни вертикального луча маяка не было заметно в воздухе, хранившем розоватость вечерней зари.

Трещали кузнечики, но тишина была здесь так глубока, что от времени до времени слышался гул проходившего трамвая. Пахло облачной сыростью, морем, но эти запахи еле различались сквозь густой аромат акаций, который становился уже приторным.

Она долго смотрела на него, и ей стало, наконец, так его жаль, что сердце не выдержало: тихо поднялась она, и, замирая от тоски, направилась к нему.

Он не мог не слышать ее движений и обыкновенно оборачивался на малейший шорох, но тут даже не шевельнулся, точно застыл стоя.

Тогда она обняла его и прижалась к нему, избегая глядеть в лицо.

Ей почудилось, что он слегка вздрогнул от ее прикосновения. Неужели так ушел в себя, что забыл даже о ее присутствии?

Но тут она услышала его голос, которому

он силился придать спокойствие.

— Скажи мне, но только скажи искренно и прямо...

Запнулся, точно проглотил спазму горечи, и, не оборачиваясь, все тем же неестественно спокойным голосом спросил:

— Я кажусь тебе очень безобразным?

У нее едва не соскользнула рука с его плеча.

— Как ты можешь... что за вопрос!

Но он настойчиво продолжал:

— Это не ответ. И верно потому, что ты уклоняешься от ответа, правда, что я очень обезображен. Может быть, ужасен?

Он уже не мог дальше притворяться спокойным, и голос его как-то заколебался, зазвенел несдержанной мукой.

Раньше он никогда не спрашивал ее об этом. И она начинала убеждаться, что он не имеет никакого представления о своем безобразии. Но вместо того, чтобы радовать ее, такое заблуждение казалось ей несколько жалким и даже как-то непонятно унижительным для него. Теперь этот вопрос, а главное, тон его разрушили ее заблуждение. Стало страш-

но ясно, что не было, быть может, и минуты, когда бы он об этом не думал, и не мучился тайно.

И стыдно стало, что она придавала такое значение этому уродству, что часто избегала даже глядеть в это лицо и раздражалась каждой мелочью, которую он делал по привычке, забывая, что лицо его не то, что было.

Это показалось ей теперь таким вздором, что она с задушевной искренностью воскликнула:

— Да нет же, вовсе нет. С чего ты взял!

И взглянув прямо в его лицо, зареянное сумерками, она в самом деле не нашла его таким мучительно уродливым, каким находила всегда, особенно со времени суда, или вот за несколько минут перед этим, когда он занимался своим костюмом.

Он быстро обернулся, сжал ладонями ее голову и заговорил голосом, прерывающимся от переполнившей сердце благодарности:

— Ну, вот, хорошо. Ах, как хорошо! А мне казалось... я все боялся спросить. Это так мучило меня, — прорвалось у него признание. — Я спрашивал мать. Но разве мать мог-



ла мне сказать правду! И разве она ее знала! Я целыми часами ощупывал лицо свое, стараясь хоть так угадать, насколько оно изменилось. Но страшнее всего было спросить об этом тебя. Так скажи мне, тебя не отталкивает, что я сейчас ласкаю лицо твое?

— Нет, нет, — с облегчением ответила она. — Да и разве я полюбила тебя только за то, что ты красив!

Он поверил с радостью. Он слышал этот голос, который не мог его обмануть.

— Какое счастье! Какое счастье!

Его рука еще неуверенно ласкала лицо ее, касалась глаз и губ, точно на этих губах должны были остаться следы голоса и, таким образом, он мог еще явственней убедиться в ее искренности, и когда рука его коснулась ее губ она удержала ее и поцеловала.

Он вздрогнул от волнения, крепко прижал ее к себе и только теперь решился поцеловать ее лицо, волосы, шею.

— Боже мой! Боже мой!

Все еще не веря своему счастью, он нерешительно и неловко привлек ее к себе.

Она покорно ждала; и была при этом одна

мысль, которая торопила ее и толкала, мысль, что надо воспользоваться этим состоянием, принести ему последнюю жертву, сделать то, что она считала необходимым сделать. Она ощущала эту силу, притягивавшую ее тело к его телу. И было хорошо, что не чувствовалось принуждения над собою, а как тогда, на прогулке у моря, когда ей так легко было подниматься вверх по обрыву, держась за его руку, сейчас ей было так же легко идти за ним туда, куда он вел ее, скорее нес, потому что она не чувствовала под ногами опоры.

И было как-то сладостно, жутко, но жутко не за себя, не за будущее, а за что-то, как бы predetermined.

Сумерки уже перешли в темноту, густую и нежную, напитанную тишиной и пряным ароматом сада, отягощавшим ресницы.

В последний раз мелькнула в глазах прозрачно голубая, мерцающая звезда маяка. Потом глаза совсем закрылись, и уже не одна звезда, а целый сонм звезд поплыл перед ней в медленном хороводе, от которого мутнело в голове и тело испуганно изнемогало.

\* \* \*

Свершилось... Свершилось... — как будто стонало в ее крови.

Она прислушивалась к этому стону в крови, к этому слову, которое билось в висках и острым ядом проникало в мозг.

Надо было отыскать во всем этом хоть каплю радости, хоть намек на счастье. Но отчего страшно было открыть глаза и увидеть его? Она чувствовала, как бледнеют ее щеки и холодеет сердце.

Знала, что он где-то здесь, недалеко. Даже слышала его взволнованное дыхание и как бы чувствовала в себе его растерянность.

Он молчал. С опустившимися плечами неподвижно стоял в темноте, в двух шагах от дивана. Когда она глубоко вздохнула, он бросился к ней.

Она принудила себя протянуть руку. Он поймал эту руку и сел рядом, целуя похолодевшие пальцы ее.

— Ты этого хотел от меня? — наконец спросила она его после долгого безмолвия.

— Я счастлив, — ответил он. — Теперь душа моя спокойна.

— Спокойна, — неопределенно повторила

она.

Почудился затаенный упрек.

— Все равно, ведь, — сказал он, как бы с вынужденным оправданием. — Это должно было произойти. Но то, что это произошло сейчас, делает меня бесконечно счастливым.

— Бесконечно счастливым, — повторила она, как ему показалось, с дрожью тоски в голосе.

Замирая, он спросил ее:

— А ты... Ты разве не счастлива?

Она чуть слышно прошептала, боясь, что он в голосе ее может уловить иное:

— Счастлива.

И хотя этот шепот не ответил его ожиданию, он ухватился за слово и заговорил, глядя ее руку, сам себя успокаивая и ободря срывавшимися словами:

— Теперь я знаю, что ты не оставишь меня. Я понимаю, ты устала, я измучил тебя. Но все было так неопределенно. Теперь мы уедем в деревню на лето. А там... — он, взволнованный, перевел дыхание, — будем жить, где хочешь и как хочешь.

— Мне ничего не надо, — сорвалось у нее с

глубоким вздохом.

Он встревожился: что могли значить эти слова? Медленно и боязливо спросил:

— Как ничего не надо?

— Ничего, ничего не надо.

— Значит... — голос насильственно поднялся, — тебе хорошо со мной?

— Да, да, — ответила она со странной торопливостью.

Он наклонился к ней, чего-то не постигая, подозревая что-то. Выжидательно молчал, и она видела, что он ждет.

Она тихо поднялась, села рядом с ним, и, сжимая его руки, вдруг спросила проникающим голосом:

— Но разве тебе не страшно? Скажи, разве тебе не страшно?

— Чего?

— Что вот... тебе... Что нам, сейчас... так хорошо?

Он еще более приблизил к ее лицу свое лицо, точно старался проникнуть в ускользающий смысл ее слов. Наконец, чуть слышно произнес:

— Я не понимаю. Я боюсь понять тебя.

— Разве нужно объяснять тебе, именно тебе! Будто ты не знаешь, — повышено и торжественно продолжала она, — как судьба часто казнит людей за то, что они поверят в счастье.

— Лара, Лара, зачем ты так говоришь!

— Чтобы ты понял меня, — твердо ответила она.

Он оставил ее руку, встал с дивана и резко возразил:

— Я не верю. Я не хочу верить в судьбу.

Она спохватилась, что заговорила так прямо, и заставила себя пойти на хитрость.

— Милый, — вкрадчиво приступила она, — я и сама не хотела бы верить в судьбу. Но отчего же мы так мало знаем о счастье людей. Зато книга горя бесконечно. Почему именно нам надеяться...

Он суеверно остановил ее:

— Ради Бога, замолчи.

Она притаилась.

Он, как-то сутулясь, прошелся по комнате, машинально обходя предметы, и, сжимая лоб, точно выдавливая из него тяготевшие мысли, с усилием заговорил:

— Пусть ты права во многом. Но разве этой проклятой судьбе, если она, действительно, существует, мало того горя, которое она обрушила на меня... на нас?

— Ах, судьба не мерит горя; только радость у нее на счету.

— Это не твои слова! — ревниво воскликнул он.

Но она как бы не слышала его обличения и продолжала:

— Я бы не перенесла нового издевательства судьбы.

Он сжал руками голову и опять сел рядом с ней.

— Боже мой, но почему же думать, что это случится!

— Я не могу не думать.

— Но не непременно же это должно быть? Может это и не быть.

— Может и не быть. Но ожидание этого, разве это уже не величайшее бедствие?

Она закачала головой, и голос ее упал.

— А не ожидать, я опять-таки не могу. Я буду ожидать всегда... каждый день.

В ее голосе слышалось настоящее отчая-

ние, и оно не только не пугало, но и не заражало его.

Он не хотел поддаваться.

— Ты просто сейчас не в себе.

— Может быть. Но это началось не сейчас.

Его вдруг кольнуло ревнивое подозрение.

— Когда же?

Она закрыла лицо руками.

С того самого проклятого вечера, когда я всем существом поверила в счастье и послала тебя, именно от полноты счастья, послала на казнь.

Руки отпали от лица.

— Вот, когда я узнала все это, тогда и началось. Когда я получила эту записку, тогда и началось, — дрожа, говорила она. — И никогда само это кончиться не может.

— Перестань, перестань так говорить! — выкрикнул он и хотел отойти от нее, но она схватила его за руки.

Страшное что-то было в ее настойчивости, и он старался высвободить свои руки из ее похолодевших пальцев.

— Постой. Я сейчас зажгу свечу. Это темно-та, темнота так настраивает тебя.



Он безошибочно двинулся к столу, где обычно стояла свеча и спички, и, шаря по столу руками, нервно бормотал:

— Да, да, все от темноты. Я-то ведь знаю, что значит темнота.

И в самом деле было очень темно. Но откуда он мог знать это?

Небо, все закрытое тучами, тяжело и низко надвинувшимися с запада, не пропускало ни луча звезды. Один маяк пронзительно светился во мраке, рассекая его на далекое пространство над морем голубоватой полосой; другой вертикальный луч его вонзался в небо, разлившись высоко светящимся пятном, и в этом вертикальном луче, трепеща, поднимались и опускались просвечивающая облака, как попавшие в плен духи.

Он всем телом своим чувствовал эту надвигавшуюся грозу.

И вот, в ту самую минуту, как нашел спички, молния ослепительно ярко и мгновенно разорвала тучу, поглотила своим блеском оба луча маяка и таинственно осветила всю комнату с этой белой высокой фигурой слепого, которому дано было только угадать, а не уви-

деть даже этот ослепительный свет.

Она вскрикнула от неожиданности.

— Что с тобою? Тебя испугала молния?

— Нет, нет, ничего. Но огня не надо, не надо. Иначе я не скажу тебе того, что хотела.

Предчувствуя недоброе, он пытался остановить ее.

— Может быть, в другой раз.

Страстно желал мысленно, чтобы пришла мать или что-нибудь помешало высказаться ей до страшного конца.

Но никто не приходил, и он заметался в смятении.

— Тебя напугала молния. Я затворю окно.

Но прежде, чем он успел подойти к окну, она вскочила и схватила его за руки.

— Нет, нет, говорю тебе, не надо. Это важно не только для меня, но и для тебя.

Где-то далеко ударил гром и, точно перекачываясь по каменной лестнице, докатился издали сюда, тяжелый и торжественный.

Он инстинктивно двинулся к ней точно защищал ее от грозной небесной стихии.

Она обрадовалась этому моменту, прижалась к нему и лихорадочно заговорила:

— Мне так хорошо. Так хорошо с тобой сейчас. — Она приблизила к нему свое лицо так близко, что ощущалось ее дыхание. — Так хорошо... что хотелось бы умереть.

Он отшатнулся от нее.

— Умереть! — повторил он, пораженный этим словом, которое являлось ключом к пугавшей его загадке.

Снова блеснула молния и осветила его подавленную фигуру и ее жадно испытующие глаза.

Прокатился гром, но уже гораздо дальше и после него еще глубже и томительнее стала тишина.

— Да, умереть. Разве тебе не хотелось бы умереть со мною сейчас, когда мы так счастливы? Разве может повториться что-нибудь подобное?

От этого вкрадчивого голоса, от этой дрожи тела, такого нежного и любимого, уже всецело ему принадлежавшего, но познанного, как в мгновенном сне, его самого охватывала дрожь, еще более знойная и томительная, чем при первом поцелуе их.

И все, что минуту назад представлялось та-

ким значительным, даже пугающим в ее речах, все это, как волна на песке, разлилось в неудержимом приливе желанья, оставляя по себе только пену, да и то быстро ускользавшую и таявшую без следа.

В то время, как руки его сами собой сжимали ее тело, сохнувшими губами он почти бессмысленно отвечал на ее слова:

— Никогда. Никогда.

Голос ее точно откуда-то издали донесся до него.

— Значит, ты понимаешь, ты согласен со мной?

Но у него уже почти исчезла из памяти суть беседы.

— Да, да, — машинально бормотал он, охваченный жаждой новой ласки. — Да, да, согласен.

Но она вдруг вся сжалась, защищаясь и замыкаясь от этих ласк.

Он несколько опомнился, и явилось тайное опасение, что может испортить все своим чересчур страстным и резким порывом и невниманием к ее словам.

С трудом овладевая собой и сдерживая

прерывистое дыхание, от которого вздрагивал и ломался голос, он заговорил с лукавой кротостью:

— Я понимаю. Все это оттого, что слишком много пришлось пережить в такой короткий срок. Вот поедem в деревню, и ты отдохнешь там.

Он спохватился, что уже говорил эти последние слова, и хотел яснее собраться с мыслями, но уже у ней вырвалось горестное восклицание.

— Ах, все ты не о том! Не о том! Ты, очевидно, даже не слушал меня.

Она отошла от него.

— А я-то думала, что ты понял меня.

Ее разочарованный тон вполне вернул его к сознанию.

— Я не знаю, чего ты хочешь от меня.

— Значит, ты меня не слушал.

— Я принял то, о чем ты говоришь, лишь за настроение, не больше.

Это было увертка, но, чтобы не выдать себя, он с горячей страстностью ухватился за то, что тайлось в душе.

— Иначе, зачем было употреблять столько

сил, чтобы спасти мне жизнь. Ведь ты же знаешь...

Но она не дала ему договорить. Она приготовилась к возражению, хотя заранее понимала всю его шаткость. Слова на слова. Но разве дело в словах.

— Да, да, знаю. Но пойми, это совсем не то. Тогда это значило бы уступить судьбе без борьбы. А теперь мы победили судьбу... победим, если сами уйдем от жизни.

Он выкрикнул тревожно:

— Перестань. Мне нестерпимо слушать тебя!

И в ответ вырвался ее крик:

— И мне нелегко говорить!

Огорченный и взволнованный такой настойчивостью, он говорил, подняв голову, точно жалуясь кому-то:

— Спасти мне жизнь, заставить дорожить ею даже после того, как и надежд-то не осталось на то, что я буду видеть... Я не понимаю. Тут что-то не так. Я слепой. Мне раньше казалось, что я потерял все. Но я с каждым днем убеждаюсь, что не все; что и у слепого, у меня есть свои радости, что даже мне теперь до-

ступно то, чего я не постигал зрячий. Наконец, я убедился в твоей любви... И в такую минуту...

— Да, именно в такую минуту. Мне бы не пришло это в голову в другое время, но теперь так хорошо, так хорошо умереть, — прошептала она последние слова.

Она хотела еще прибавить, объяснить... но не решилась. И в молчании повисло между ними что-то недоговоренное.

Он глубоко вздохнул, закачал головой и подошел к окну.

Становилось трудно дышать. Хотелось дождя, но дождя все не было, хотя тучи не освобождали неба.

— Ах, — с тоской вырвалось у него. — Что-то не так. Что-то не так. У меня началась совсем новая жизнь. Я обязан ею тебе, и потому я особенно этой жизнью дорожу. Да, да, совсем новая жизнь, и судьба не посмеет оборвать ее так, как оборвала ту. Может быть, для того и оборвала, чтобы я глубже почувствовал настоящее счастье. Счастье с тобой.

Он не замечал, что все говорил о себе, зато она это замечала с болезненной остротой.

Упорно вспоминалось письмо Дружинина, и растревлялось сердце.

И ей хотелось крикнуть ему, что она не может ограничить весь мир собою, и оттого не хочет и не может жить.

В бессилии она закрыла лицо руками и тихо заплакала.

Он бросился к ней. Эти слезы на него подействовали сильнее всего. Стало ясно, что все пережитое оборвало в ней какие-то важные нити жизни.

Он терялся. Не знал, что делать. Срывались совсем детские слова, воспоминания о прежнем, о том, как она говорила о своей любви к жизни; и о том, что самая мысль о смерти так отвратительна, когда в природе весна.

Но ей именно весной всегда думалось о смерти. И вспоминались полудетские весны, такие недалекие по годам, но отодвинутые последними днями за ту грань, где они представлялись давно минувшими. Правда, тогда это были сладостно жуткие, но светлые думы о смерти, нежно зовущие возможности. Теперь — почти неизбежность. Но случайными словами о весне он как будто перелил отблес-



ки света из того прошлого в нынешний мрак, и вместо того, чтобы рассеять, утвердил ее решение.

Слезы еще сильнее полились из ее глаз.

— Твои слезы мучат меня. О чем ты плачешь? Неужели я виноват в этом? Но клянусь тебе, я не помешаю тебе жить так, как ты захочешь.

Бормоча эти жалкие слова, он старался отвести от лица ее руки, и его пальцы ощущали влагу слез, проливавшуюся между ними.

— Я сам готов уйти с твоей дороги, если мешаю тебе, — вырвалось у него.

Она вдруг перестала плакать и воскликнула облегченно:

— Ну, вот, ну, вот! Я же говорю: умрем вместе.

Она явно умышленно по-своему истолковала его слова, и этот последний ее крик заставил его содрогнуться.

«Что-то не так. Что-то не так», — опять за сверлила подозрительная мысль. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой, и с лукавой мудростью, как бы соглашаясь с ее упорным намерением, успокоительно заговорил:

— Хорошо, пусть так. Но ведь не сейчас же надо решиться на это. Пусть ты права. Судьба действительно жестока к людям и будет опять жестока к нам, но ведь то, о чем ты говоришь, не уйдет и тогда, когда мы убедимся в ее жестокости.

Он говорил, а в то же время слова как будто взвешивались сами собой на неведомых весах, и он видел, как они поднимались, как пустые пузыри.

Она встала, вытерла слезы и тихо, но твердо сказала:

— Все равно, если ты не хочешь, я одна... Я уже решила.

Он с мучительным надрывом воскликнул:

— Да, что же, наконец, произошло, что у тебя так все изменилось.

Она молчала.

Это молчание ревниво обожгло его мозг.

Он стал ходить по комнате, стараясь собраться с мыслями.

Но мысли его разбредались в разные стороны, и даже не мысли, а какие-то обрывки мыслей, клочья, почти бесформенные и разноокрашенные.

Несомненно, за ее словами было что-то недоговоренное. Но он боялся утвердить для себя ту простую правду, которая напрашивалась сама собой.

Мысль хитрила, изворачивалась, плела сложные сети, но они путались и обрывались. Он готов был винить в этом предгрозовую тишину, которая давила на мозг.

Стоя у окна, он вытягивал голову, вслушивался, точно ожидая разрешения свыше. Но тишина молчала так же, как молчала она, эта странная девушка.

И вдруг издали, с моря, раздался протяжный шум, точно оборвался с обрыва камень и медленно покатился вниз, шурша и заражая смутной тревогой тишину.

Это всплеснулась волна; волна с медленным шумом разлилась на прибрежных камнях. Так бывает ночью. Как ни тихо море, в нем есть постоянные движения, неуловимые, они порой сливаются в одно и разрешаются глубоким тоскующим вздохом.

И от этого всплеска волны его душа также всколыхнулась, и не осталось места ни борьбе, ни притворству с самим собой. И стало об-

манчиво легко. Да, он понял. Этот исход неизбежен и больше нужен для него, чем для нее.

Он повернулся к ней, чтобы сказать ей об этом, и почувствовал на себе пристально печальный взгляд ее и опять отхлынуло и замутило глубину души:

— Да так ли?

Он сам испугался, что произнес слова эти вслух. Дыхание затаилось. Он ждал ответа.

Послышался шорох платья. Ее шаги. Ощутил ее легкую руку на своем плече, и в душе блеснуло робкое ожидание: вот, вот, сейчас разрешится: душа оживет.

Но голос, полный ласки, какого он никогда не слышал, как бы околдовывал его безнадежными словами:

— Так, милый, это неизбежно.

У него вырвался подавленный стон.

Она приблизилась к нему совсем, положила руки на плечи и сказала то, что терзало его, что он гнал от себя и напрасно старался заглушить:

— Разве ты можешь бояться умереть? Чего еще ждать от жизни? Ты пойми, вот сейчас произошло то, что могло бы быть венцом на-

шей любви, а разве в этом открылось счастье? Я отдала тебе все, что могла отдать, и ничего мне больше не осталось.

Упругий комок подкатил ему к горлу.

— Да, — едва выговорил он.

— Ты сказал «не буду стеснять тебя». Я и сама думала. Но разве я могу воспользоваться этой свободой для себя... для своей мечты!..

Она закрыла лицо руками и замолкла, стараясь подавить подступившие рыдания.

— Но мне... мне самой ничего не надо.

— Да. Да, — задрожал его голос, подтверждая не то ее слова, не то свои мысли.

— Но перед нами целая жизнь... целая жизнь, — протянула она, сжимая зубы.

Он схватил ее руки и как безумный повторял:

— Да, да, да, да!

Они шли вместе. Голоса их звучали, как две родные струны. И вот зазвенели ее последние слова, которые слили их души в одну безнадежность:

— А если будут дети... Их жизнь не может быть радостна с нами.

Он тряс ее руки, взволнованный, дрожа-

ций и повторял в лихорадочном экстазе:

— Ты права... ты права... Иначе не может быть.

У ней вырвался глубокий вздох.

— Ну, вот. Как-то стало тише на душе.

И его возбужденность упала и сосредоточенно строго сдвинулись брови. Он отошел от окна к дивану. Сел. Склонил на руки голову и не сразу тихо спросил:

— Как же это сделать? Ты, верно, представляла себе как все это будет?

— Ты о чем? — спросила она даже с некоторым оживлением.

— А вот, о том, каким способом это произвести... и вместе или порознь.

Она с торопливостью ответила:

— Только не вместе.

Он тревожно поднял голову.

— Почему же не вместе?

— Почему? — переспросила она. — А вдруг, в последний момент, мы пожалеем, или испугаемся страдания, я — твоего, ты — моего...

— Да, да, — поспешил он согласиться.

Духота увеличивалась, но дождя все не было. Гроза уходила за море, и оттуда долетали

бесшумно вспышки сухих сиреневых молний.

У него стучало в виски и горел мозг. Боялся сойти с ума от этих подавляющих мыслей. После долгого молчания он с усилием выговорил:

— Когда же?

— Нынче в полночь. Ты здесь. Я — у себя.

Она подошла к нему. Опасаясь, чтобы он не раздумал, спешила закрепить его решение.

— Вот возьми, — положила она ему в руку что-то, завернутое в бумажку. — Это морфий. Я его давно с собой ношу.

— Значит, и задумала давно? И молчала... Где же ты его взяла?

— Не все ли равно.

С дальнего приморского монастыря донесся медлительный и скорбный звон колокола.

Она насторожилась и сосчитала удары:

— Десять.

Заторопилась.

— Пора. Простимся.

Он быстро встал. Сердце застучало крепко-крепко.

— Как, уже?

— Нет, только десять. Но мне пора.

Она обняла его.

Объятие ее показалось ему совсем чужим, совсем чужим. Губы приложились к ее губам, и поцелуй был неживой.

Постояли. Помолчали. И она ушла.

Сердце все еще усиленно стучало. Мысль судорожно извивалась в живых обрывках, точно разорванная на куски змея.

Донеслось, как стукнула входная дверь. Гравий зашуршал за окном.

«Это ее шаги», — глухо отозвалось в нем.

Когда шаги замолкли, образовалась зияющая пустота и тишина. Стало неприятно, что в комнате темно.

Он ударил по карману, где обычно были спички, пусто. Вспомнил, что на нем новый костюм.

Подошел к столу, пошарил. Когда он нашел спички и хотел зажечь свечу, левая рука оказалась занятой тем, что она оставила ему.

Он точно проснулся.

И его охватил такой беспредельный ужас, что тело затряслось и застучали зубы. Хоте-



лось броситься за ней, крикнуть, вернуть ее, но что-то внутри стонало, что это невозможно.

Продолжая все так же дрожать, он упал на диван. Тело все билось от страха, и ключья разорванной мысли никак не могли найти друг друга и срастись.

Он ощупал в руке судорожно сжатый маленький комочек бумаги, в котором была смерть. Его смерть.

В его власти было уничтожить этот яд; выбросить вон за окно и конец.

Конец? А она?

Он спустил ноги и сел.

Ведь это так просто: пойти к ней и остановить... остановить.

Сжатыми руками он потер виски.

— Нет, остановить нельзя. Ее остановить нельзя, — вырвалось у него вслух.

Ну, а если ее остановить нельзя, то что же дальше?

Как-то даже затошнило.

«Надо умереть. Надо умереть, — думал он, качая головой. — Зачем ждать полуночи. Надо вот только встать и запить то, что в руке,

ГЛОТКОМ ВОДЫ».

И он встал, подошел к столу, положил порошок в карман, отыскал спички и, нащупав свечу, зажег ее.

— Так будет лучше, — сказал он, убедившись, что пламя свечи заколыхалось под осторожно приподнятой рукой.

Почему лучше, он не знал, но действительно как будто стало легче.

Он опустился в кресло подле стола, достал порошок, положил его перед собой.

Явилось опасение, что не следует выпускать этого яда из рук, иначе он может его потерять.

И тут же вползла, как червяк, извивающаяся гаденькая мысль: ведь это так просто — потерять.

Он нервно схватил порошок и положил его в карман.

Встал, подошел к окну и высунул наружу голову, с жаждой ободряющей свежести ночи.

Но кругом была густая, насыщенная ароматом цветов тишина. И вдруг ее тяжело всколыхнул удар колокола, от которого тишина прорвалась, и он вздрогнул, отшатнулся от

окна и начал считать удары с колотившимся сердцем.

— Восемь, девять, десять, — сердце так же наполняло звоном тело, как колокол. — Одиннадцать, — у него захватило дух. — Только одиннадцать, еще целый час. Что надо сделать за этот час?

Если бы он не был слепой, он мог бы написать за этот час целый реквием своей жизни, такой несчастной, такой фатальной. Дано было так много. Где этот талант, умевший чувствовать и претворять в живые краски красоту! Где это пламенное сердце, которое так буйно и щедро разбрасывало свои сокровища, как будто богатству его не было меры и предела! Все погибло, погибло навсегда. Для всего этого он уже умер. Эта самая драгоценная часть его души и природы от него отпала. Осталась самая незначительная очевидно, никому ненужная.

Так значит, действительно, жить незачем.

Он хорошо знал, где стоял графин с водой. Пошел к нему уверенно, нащупал стакан, и когда из графина лил воду в него, рука не дрожала.

Он вернулся к столу, поставил стакан; медленно опустил руку в карман за порошком; и рука там замерла.

Сама собой родилась мысль: ведь двенадцати еще нет.

— Двенадцати еще нет, — повторил он вслух, точно оправдываясь перед кем-то. И подумал: «Где же мама? Почему не приходит мама?»

Представил себе ее, как она будет страшно потрясена. Может быть, не переживет: слишком много было пережито.

И сердце цепко и больно захватила острыми когтями жалость.

Для матери и такой он дорог. Не есть ли это единственная, истинная любовь? Она бы никогда и ни за что не захотела его смерти.

Он как будто не звал эту мысль, она пришла сама, но ухватился за нее и с едкой горечью повторил:

— Да, она бы никогда, ни за что не захотела моей смерти.

Он умышленно открыл в коридор дверь своей комнаты, чтобы мать увидела огонь и поняла, что он не спит.

И отчего она не идет? Ведь она никогда не ложится спать, не простившись с ним. А вдруг она легла?

Его охватил ужас. Захотелось крикнуть: «Мама!» Но он удержался.

Не сдерживая шума шагов, он прошелся по комнате и уронил стул. Остановился. Прислушался.

За дверью отозвалось движение.

«Она идет», — облегченно подумал он. Подошел к столу и торопливо вынул из кармана порошок, положил его на стол рядом со стаканом.

Как это он сделал, сам не знал. Гадливое чувство к себе охватило его, он поспешил взять обратно, но порошок не попадался, и в это время вошла мать.

Она подозрительно взглянула на его нервные торопливые движения и быстро подошла к столу. Прежде, чем он успел нащупать порошок, она уже положила на него руку.

— Это что такое?

Его рука коснулась ее руки.

— Мама, не тронь.

— Что это такое?

— Да нет, это пустое... лекарство. Отдай.

— Не отдам, прежде чем не попробую сама.

— Мама! — испуганно крикнул он.

— А, так вот какое это лекарство, — с похолодевшим сердцем произнесла она.

— Говорю тебе, вздор, пустое.

— Ну, значит я могу его принять.

— Ах, мама, мама, зачем ты меня мучаешь.

Тогда она тихо взяла его за руки, усадила на стул, стала возле него на колени и дрожащим от собравшихся в груди рыданий голосом заговорила:

— Мальчик мой, мальчик, что ты задумал?

Рыдания неожиданно для него самого внезапно прорвались сквозь толщу всего пережитого за эти часы. Он ухватил руками ее шею и прижался к ней, как бывало в детстве в покаянные минуты, когда она своей любовью и лаской вызывала в нем сознание в его проступках.

Она также не могла сдержать рыданий; лаская его волосы, лицо, руки, она роняла на эти руки слезы и говорила:

— Мальчик мой, родной мой мальчик. Как ты мог... ведь я все понимаю. Как ты мог не

пожалеть меня... меня... твою маму, у которой ты один...

Он всхлипывал, как ребенок, и сквозь эти всхлипывания вырывались слова:

— Я не могу... мы условились.

— Условились! — отшатнувшись от него, вскрикнула она.

— Да, да, условились. Условились умереть вместе в полночь.

— В полночь! — неестественным голосом выкрикнула она и поднялась на ноги и с внезапной яростью заметалась по комнате, ища часы и повторяя:

— В полночь... условились в полночь.

— Ты не должна меня удерживать... не можешь... это будет подло... мы условились, — поднявшись со стула, протягивая к ней руки, с отчаянием и мольбой стонал он. — Отдай мне яд, отдай.

— Ни за что! И ты думаешь, что она там так же, как и ты, готовится к смерти, — обратила она свою ярость на ту. — О, я понимаю все, что она сейчас затеяла.

— Как тебе не стыдно.

— Ты глупец! — резко вырвалось у нее. —

Ты наивный и доверчивый глупец. Подумайте, как это просто, дать яд, самой уйти, заставить умереть и кончено. Как это просто. Кто узнает, что вы условились умереть вместе?

— Мама!

— Да, да, ты не думай... ты не думай, что она умрет.

— Мама, ради Бога... Раз ты помешала мне, помешай и ей, беги к ней, беги к ней.

— Вздор, ей просто надо было от тебя избавиться. — Не помня себя, едва ли понимая, что делает, нанесла она ему жестокий удар. — Ей есть для кого это сделать. Это так просто... так просто: ты умрешь, а она выйдет замуж за Дружинина.

Он остолбенел; те смутные подозрения, которые у него зарождались в этот вечер, вдруг выросли, раздулись, как злокачественный нарыв, но он затряс головой, отвергая это дикое предположение.

— Нет, нет, ты не смеешь так думать. Я сам предлагал ей уйти от меня. Слышишь, я сам.

Она опешила от этих слов, но лишь на одно мгновение, ревнивая ярость толкала ее вперед:



— Ах, ты не знаешь. Ты не знаешь, что гораздо легче уйти от мертвого, чем от живого.

— Зачем же было тогда спасти меня от смерти, — потрясенный цеплялся он за прежнее.

— Ах, ну, мало ли что! Она сама, может быть, не была уверена. А теперь я знаю, она получила от него письмо. Она скрыла от тебя, но она получила от него письмо.

Эта мелочь показалась ему самой страшной. Стиснув руки, трясущимися губами, он бормотал, как бы моля пощады:

— Это невозможно! Это чудовищно! Предательство!

— Да, да, чудовищно! Но если одна могла выжечь твои глаза, изуродовать твое лицо, почему этой не совершить предательство.

Эти доказательства вырвались у ней в каком-то мрачном вдохновении, и она, наконец, сама в них поверила и увидела их власть над ним.

Ошеломленный, он зашатался и поднял руки, ища опоры, чтобы не упасть, и, верно, упал бы, если бы она не поспела к нему и не помогла подойти к дивану.

Но в ту минуту, как он готов был опуститься на диван, ударил колокол.

Весь вздрогнув, с диким сдавленным криком он вскочил и ринулся к двери.

Мать схватила его за руку.

— Если это случится... — проговорил он, дрожа под продолжающейся звон полуночного колокола.

Она перебила его:

— Пусть все падет на меня.

Но каждый новый удар будил и ее самое от этого кошмара. Раскаяние заметалось в ней. Он уже спасен. Если там несчастье случилось, может быть, не поздно спасти и ее? И она забормотала, как бы успокаивая его:

— Если хочешь, поедem к ней. Поедем к ней. Мы успеем, так близко.

— Поздно.

— Еще полночь не пробила.

Пятый удар томительно и нудно разливался в воздухе, отягощенном тишиной.

И вдруг под этот удаляющийся звон раздались быстрые шаги по гравиию.

Он мгновенно узнал эти шаги и вскрикнул от неожиданности.

— Она! Это она!

Мать сначала не поверила, но он твердил:

— Она, она!

И ее от каждого звука, этих шагов, от каждого слова его, охватывала злая, торжествующая радость.

— А-а, — протянула она, чувствуя, как сваливается с нее эта гора. — Я говорила. Я говорила! Она бежит убедиться, что все кончено.

Эта ярость торжества на миг передалась и ему.

— Тем лучше! — с ожесточением воскликнул он. — Тем лучше.

С поразительной ясностью представил, как она будет поражена и растеряна, увидев его живым, убедившись, что он проник ее предательство.

Только ради этого, ради одного этого, он желал бы хоть на один миг иметь глаза, чтобы насладиться ее поражением.

Но этот злобный взрыв погас в то же мгновение. С трудом удерживаясь за косяк двери, чтобы не упасть, он зашептал:

— Я не могу. Ты, ты говори с ней.

И, перебирая рукой по стене, он потянулся

к дивану и почти теряя сознание, упал на него.

Шаги были уже у дверей, и мать, гордо выпрямившись, пошла навстречу.

\* \* \*

Она встретила запыхавшуюся девушку на самом пороге дома.

Полночь уже пробило, и последний звон дрожал в саду певучей зыбью.

Тяжело дыша, та не могла выговорить ни слова к только с широко открытыми глазами растерянно протянула руки, точно хотела прорваться в дверь.

Но холодный, спокойный голос обрушился на нее, как ледяная струя.

— Ну, вот, мы не ошиблись. Мы поняли вас. Мы не сомневались, что вы останетесь целы и невредимы.

Трудно было сразу понять. Одно было ясно, что он жив, и сердце радостно успокоилось.

Она сделала движение вперед, но мать загородила своей высокой победоносной фигурой дверь.

— Я хочу видеть его.

Мать едко усмехнулась, спрашивая:

— Живым или мертвым?

— Что говорите вы?

— Вы знаете, что я говорю. Зачем вы спешили сюда в полночь?

— Чтобы спасти, предупредить.

— Для этого надо было прийти хоть за четверть часа до полуночи.

От этих слов она захолодела, все еще не понимая их истинного смысла.

— Да успокойтесь. Он не так был доверчив, как вы надеялись.

Точно распахнулась черная завеса и за ней открылась зияющая бездна человеческого непонимания и жестокости. Все стало ясно и мертвенно-спокойно.

Пред нею все еще стояла холодная враждебная фигура и злорадно ждала оправданий с ее стороны.

Но ей уже было все безразлично. Не говоря ни слова, она повернулась и тихо пошла прочь.

## XXVI

«Вот и все кончено, — возвращаясь домой, думала она с новым чувством облегчения. — Скоро, скоро не будет ни лжи, ни притворства, ни насилия над собой.

Как хорошо».

Но этими словами никак нельзя было определить того сложного чувства, которое она переживала, и переживала не всем своим существом, а как будто ничтожной частью его, одним тайником сердца, одной клеточкой мозга, связанного с этим тайником.

Слегка лихорадило: тело безболезненно ныло и все еще не вполне освободилось от того трепета, которым был охвачен каждый нерв. В ногах ощущалась слабость и пустота.

Но о том новом, неиспытанном до нынешнего вечера, старалась не думать, хотя тело не могло забыть, да и мысль то и дело к этому возвращалась. И жаль было, что это случилось как раз перед смертью. Лучше было бы умереть до этого. Но, пожалуй, так еще легче умирать: разрушилось еще одно заблуждение, которое безмерно ценят люди.

Умереть она решила в саду.

И когда вышла тихонько в сад и села на ту самую скамейку, на которой тогда сидела с ним, почувствовала такое одиночество, точно весь мир отошел куда-то в бесконечную даль и оставил ее в этом саду одну.

Небо почти совсем очистилось от туч, но звезды светились не весело, а как-то безжизненно ярко и страшно далеко. Из-за моря, куда свалились тучи, полыхали бесшумно молнии, точно огненные ангелы сражались сверкающими копьями, и только одни они напоминали о том, что обещалась гроза.

Где-то далеко в порту загудел пароход, сначала длинно и протяжно, а потом трижды отрывисто — коротко. Значит, пароход отходил.

И вспомнился отъезд Дружинина; холодный ветреный день, суровое море с белыми гребнями волн, перекатывавшихся через брекватер.

Тогда впервые почувствовала мучительное желание уехать в далекую новую страну. Но теперь и это желание показалось незначительным.

Не жаль было этого мира, который она по-

кидала, а больше всего жаль себя, жаль, что не оправдалось что-то, чего она ждала с тех пор, как себя помнила. И не оправдалось не потому, что не могло оправдаться, а потому, что сама она стала не та. Что-то в ней переломилось, и открылись глаза жалости. Может быть, было бы лучше, если бы ослепла она, а не он.

Вспомнила о нем и на мгновение смутилась духом. И зачем она так настаивала, чтобы он умер? Не прав ли он был, что захотел уйти от смерти?

Но зачем же так? Зачем так?

Все тело содрогнулось. Боже, как жестоки люди! И она твердо сказала себе:

— Пора.

До этого ей все казалось, что смерть далеко, но сейчас, держа в руках яд, ощутила трепет, которого не могла подавить. Это был не страх, а скорее волнение, подобное тому, какое испытала, когда покорно отдавалась ему.

Надо было развести порошок в воде и выпить, или по крайней мере высыпать на язык и запить водой.

В саду был кран, и она торопливо подошла



к нему. Под краном стояла небольшая кадка, полная воды, и на ее поверхности плавал цветок ириса. Кто-то шел мимо, сорвал и бросил. Так и с ней поступила жизнь.

Эта мелочь удивительно успокоительно на нее подействовала.

Запрокинув голову и закрыв глаза, она бережно высыпала на язык порошок, чтобы не потерять ни одной пылинки. Потом наклонилась к крану, неловко подставила рот и пустила струю.

Едва не поперхнулась и страшно испугалась: ведь если бы не сдержала себя, весь порошок выскочил бы изо рта во время кашля.

Но сделала усилие над собой и проглотила порошок и только тогда откашлялась и стала машинально вытирать воду, облившую ей лицо, подбородок и даже шею.

Как будто забыла даже о том, что случилось. А может быть и не проглотила: никакой горечи, ни малейшего вкуса.

Было одно неприятное ощущение на губах, но это от прикосновения медного крана.

В то же мгновение поняла, что все кончено, и захотелось закричать, броситься бежать,

молить о спасении. Надо было сделать огромное усилие над собою, чтобы сдержаться. И верно от этого усилия сердце медленно, но глубоко забилося в груди, как будто захлопало крыльями.

Она вся неподвижно замерла, прислушиваясь к этому тревожному биению: не началось ли?

Но от этой ли неподвижности или от ожидания, биение сердца умерилось, зато охватила тоска, сосредоточившаяся где-то среди груди.

Она все продолжала стоять неподвижно, ничего не видя, никуда не глядя. Почему-то думалось, что должна сейчас упасть, но не падала.

Ночь как будто ожила и начала тихо кружиться около нее, окутывая своим душным ароматным теплом, мраком и тишиной. С каждым движением ночи все яснее и яснее ощущалось прикосновение мрака и тишины к телу.

Становилось душно и оттого все сильнее начинало сосать под ложечкой.

Уши как будто запечатала тишина. Но тем

яснее ощущалось, как ночь, избрав ее своею осью, описывает свои круги, все быстрее и быстрее кружась с каждым новым движением.

Скоро этот мрак и тишина, окутывающие ее мягкой паутиной, превратят ее в подобие кокона и задушат.

Опять охватил испуг. Надо было сделать движение, чтобы разорвать эту, покуда еще не вполне окрепшую, пелену и освободить себя.

С первым же движением почувствовала, что свободна. Чтобы убедиться, что может распоряжаться собой по своей воле, наклонилась над кадкой с водой, достала мокрый цветок и освежила им сохнувшие губы.

Подошла к скамейке, присела на нее, но лишь только присела, опять почувствовала, как ночь закружилась, обматывая тело начинаншей щекотать и покалывать темнотой.

Сильнее засосало в груди и стало так невыносимо одиноко и тоскливо жутко, что она уже не могла оставаться одна в саду и побежала в дом, боясь, как бы не упасть здесь, на дорожке.

Злобно твякнув, бросилась вослед ей собака, но, узнав своего человека, побежала рядом, стараясь приласкаться.

В доме все спали, и, чтобы не разбудить кого-нибудь, она осторожно прошла в свою комнату.

Здесь вместе с нею спала ее племянница Женя.

При свете лампадки различалась на подушке черноволосая головка, и она почувствовала к ней такую нежность и жалость, как будто это была сама она.

Платье сильно беспокоило тело, точно ночь оставила в нем свои шипы.

Она стала раздеваться торопливо и бесшумно, чтобы не разбудить девочку. Трудно было развязывать тесемки, но вспомнила, что теперь уже все равно не придется надевать этого, и оборвала не поддававшийся распутыванию узелок.

Так устала от этой возни, что пот выступил на лице и руках, и она повалилась на кровать, смыкая глаза от утомления.

Серебряные, быстро вертящиеся кольца быстро замелькали в стремительном круже-

нии.

Снятое платье не облегчало тела: ощущение колючести превратилось в зуд; пот выступал на коже.

«Началось», — подумала она, с сверхъестественным любопытством прислушиваясь к тому, что творилось в ее теле. Боялась испугаться и закричать.

Пересилила эту боязнь, но никак не могла пересилить тоски, невыносимой тоски, от которой хотелось рыдать.

— Господи, помоги мне. Господи, помоги мне! — по-детски забормотала она, глядя на икону, где глазок лампадки мигал как живой.

— Господи, ты видишь, ты знаешь, прости мне!

Последние слова вырвались громко и разбудили девочку.

Шевельнулась черная головка на подушке; поднялась; смутно зарозовели полудетские голые плечи.

— Что с вами, Ларочка? — донесся как будто откуда-то издали полусонный голос.

— Ничего, ничего. Спи, дорогая. Мне, верно, приснилось.

Хотелось стиснуть, сдавить сердце, разрывавшееся от тоски, но не могла преодолеть себя; боясь, что девочка сейчас уснет, тихо окликнула ее по имени.

— Женечка!

— Что, Ларочка?

— Хочешь ко мне, или я к тебе, — поспешила она, чтобы предупредить отказ.

Несмотря на разницу возраста, они были почти что подруги, и нередко засыпали вместе, особенно, когда у одной из них было какое-нибудь огорчение.

Все так же полусонно девочка ответила:

— Идите ко мне, Ларочка.

Она поднялась с постели и сразу почувствовала себя хуже.

Сильнее и жгучее выступил пот; зазвенело в ушах, замелькали светящиеся круги перед глазами и тяжело закружилась голова.

Но она собрала все свои силы и, ступая по прохладному полу босыми ногами, перешла к ее кровати.

Путь казался мучительно долг и даже на несколько мгновений было что-то вроде забытья: представлялось, что она, одинокая,

идет по горячей пустыне; солнце немилосердно жжет кожу, и сухой ветер осыпает колючим светящимся песком тело и глаза. Рот палит жажда, от которой сгущается горечь и ясно ощущение медного крана на губах.

Скорее бы, скорее!

Увидела на ночном столике все еще мокрый цветок ириса, забытый ею во время раздевания; с жадностью схватила его и опять приложила к губам, но это не освежило.

Стоял стакан с водой. Выпила его почти не отрываясь, задыхаясь от непрерывных глотков.

Едва коснулась кровати, как показалось, что поплыла. И замер дух, и стало невыносимо страшно.

— Женечка, обними меня, обними меня крепко! — взмолилась она к девочке.

Та прижалась к ней всем своим нежным теплым телом, обдавая сонным дыханием голую шею и щеки, щекоча шелковистыми волосами, заплетенными на ночь в две девичьи косы.

И еще раз, но уже смутно, как давно совершившееся, вспомнила Лара, что она не так

чиста, как эта лежащая рядом с ней. И опять стало жаль, что она умирает такой, и болезненно-стыдно, что об этом узнают скоро, скоро, через несколько часов.

Но не все ли равно. Ведь она уже тогда ничего не будет знать и чувствовать.

Сквозь сонь Женя спросила.

— Отчего у тебя холодные руки? Ты озябла?

— Нет, ничего, спи.

И еще ближе прижалась к ней, чувствуя, что так легче.

Но лишь только Женечка уснула, опять охватила тоска и с ней вместе — тошнота.

И опять пустыня. Но она уже не идет по ней, а как будто ее несут волны горячего песка. И песок падает сверху и засыпает ее. Особенно тяжело и больно ложиться на живот.

Она застонала и открыла глаза.

— Что с вами, Ларочка? — зашептала опять проснувшаяся девочка.

— Ничего... ничего... — сквозь судорожно стиснутые зубы хрипло процедила она.

Все замолкло.

И ее стал клонить сон.



Так хорошо было бы уснуть.

Но мешала темнота, непрерывное мелькание перед глазами, мучительный зуд кожи и опять — и опять эта упорная боль посреди живота.

А желание сна так велико, что ресницы, тяжелея, закрывают утомленные непрерывным мельканием и звоном зрачки.

Вдруг, точно целый холм песку обрушился на нее и придавил страшной тяжестью. Она открыла рот, чтобы закричать, но тут же очнулась.

И только сейчас с настоящей ясностью почувствовала, что умирает.

Волосы как будто отделились в ужасе от головы. Она бы сейчас закричала неистовым криком. Наверное, ее могли бы еще спасти.

От заливающей горло тошноты захватило дыхание.

Сама не зная как, осторожно освободилась от объятий тонких, нежных рук и еле-еле сползла с кровати.

Хотелось вернуться назад. Так тоскливо и страшно умирать одной. Но пожалела девочку.

И едва очутилась на полу, всем телом овладела такая неодолимая усталость, что уж не было силы сделать ни одного движения. Дыхание не шло дальше горла; ресницы от усталости не могли сомкнуться, и откуда-то ледяными струйками тянуло в самые глаза.

Гора песку стала еще тяжелее, и руки и ноги коченели.

Она сделала усилие, чтобы освободиться от этой тяжести. Пальцы судорожно царапнули пол.

И открылась спасительная пустота, в которую она стала медленно и плавно опускаться.

*1913 г.*